



ВЫДАЮЩИЕСЯ
ДЕЯТЕЛИ
НАУКИ
И КУЛЬТУРЫ
В ПЕТЕРБУРГЕ-
ПЕТРОГРАДЕ-
ЛЕНИНГРАДЕ

Дм. Хренков

Николай ТИХОНОВ в Ленинграде



Николай ТИХОНОВ
в Ленинграде

Дм. Хренков

ЛЕНИНЗДАТ
1984



ВЫДАЮЩИЕСЯ
ДЕЯТЕЛИ
НАУКИ
И КУЛЬТУРЫ
В ПЕТЕРБУРГЕ—
ПЕТРОГРАДЕ—
ЛЕНИНГРАДЕ.

Дм. Хренков

**Николай
ТИХОНОВ**
в Ленинграде

Лениздат
1984

Автор книги — ленинградский журналист и писатель Дмитрий Терентьевич Хренков рассказывает о замечательном советском поэте и общественном деятеле Николае Тихонове. Читатель найдет в книге интересные наблюдения, касающиеся творческого развития поэта в 1920—1930-е годы, картины литературной жизни довоенного, блокадного и послевоенного Ленинграда, штрихи к портрету Николая Тихонова — поэта, человека и политического деятеля — борца за мир.

Книга основана на воспоминаниях автора.

Рецензент — старший научный сотрудник Института русской литературы АН СССР (Пушкинский дом), доктор филологических наук А. И. ПАВЛОВСКИЙ.

Как хотелось пройтись с Николаем Семеновичем Тихоновым по послевоенному Ленинграду! Вспомнить блокадные встречи... Впрочем, честно говоря, тогда у меня встреч с ним было немного: хотя город и был фронтом, нашему брату — армейскому газетчику — нечасто удавалось бывать в Ленинграде. Да и Николаю Семеновичу было не до нас, разве что проводишь его на Невский, 2, в редакцию газеты «На страже Родины», а то в Дом офицеров, на Зверинскую, где всю блокаду прожила жена Тихонова Мария Константиновна, добрый гений всех нас, бездомных литераторов и журналистов, потерявших семьи или еще не обретших семей. Тогда и подынешься на шестой этаж в знакомую квартиру, но скорее гостем Марии Константиновны, чем Николая Семеновича. Она была приветлива и ровна со всеми, а Тихонов часто замыкался в себе. Где нам было знать, что под нашу болтовню он придумывал очередные статьи и очерки?

После войны я часто встречал его на Московском вокзале. Бесшумно подкатывала к перрону «Красная стрела», и у вагона, в котором ехал Тихонов, уже стояла плотная толпа встречающих. Объятия с близкими, вежливое рукопожатие нам, молодым, и машина увозила его неизменно на Зверинскую. Доводилось иной раз постоять с ним в Красной гостиной Дома писателя имени Маяковского у широкого окна, обращенного на Неву, поглядеть на «Аврору», затихшую на вечной стоянке, перебраться несколько раз словами. Но Тихонова осаждали еще многие, тоже нуждавшиеся в его слове, улыбке.

Зато в Москве и Переделкине, в Будапеште или Берлине мы с Тихоновым, случалось, долгими вечерами мысленно совершали

прогулки по Ленинграду. Вот тогда можно было задержаться и в Доме писателя, и на Зверинской, или не спеша пройти к Смольному, еще с набережной Невы видя впереди ажурные контуры расстрелневского собора.

В последние годы Тихонов из таких бесед часто узнавал городские новости. Бывать на берегах Невы удавалось ему нечасто, а если он и приезжал, то каждый день его был расписан по минутам. Ведь приезжал в Ленинград не просто писатель Тихонов, а заместитель Председателя Совета Национальностей Верховного Совета СССР, председатель Советского комитета защиты мира, председатель Комитета по Ленинским и Государственным премиям, секретарь Союза писателей СССР. На этих всех должностях он не просто числился, но активно работал, работал по-тихоновски — с полной отдачей сил. Люди как бы представляли собой город. Вот почему он дорожил живыми вестниками, земляками.

— Слышал: на Неве возводят еще один мост,— то ли спрашивал, то ли утверждал Николай Семенович.

— Да, возводят.

— В следующий приезд обязательно махнем туда. Там ведь прошла моя бригада.

«Моя бригада» — это 30-я гвардейская танковая бригада, маленький танк которой под командой Дмитрия Осатюка первым пробился на восток в январе 1943-го, навстречу войнам Волховского фронта. Тогда в фашистской осаде была пробита брешь. На стеллажах военного архива дремлет уникальный в своем роде приказ, подписанный полковником Хрустицким, о зачислении здравствовавшего тогда Николая Семеновича в списки почетных танкистов вверенного ему соединения.

Как-то я привез Николаю Семеновичу книгу бывшего снайпера Федора Трофимовича Дьяченко.

— Ай да наш Федор! — порадовался Тихонов. — Он был одним из самых отважных стахановцев фронта: целый батальон оккупантов полег от его метких пуль.

О токаре с Кировского завода Владимире Якумовиче Карасеве он говорил как о близком товарище.

— А вы слышали легенду о Карасеве?

— Легенду? — Николай Семенович смотрел на собеседника поверх очков, отчего лицо его выражало особое нетерпение. Ведь он сам — человек из легенды.

— Рассказывают, будто, когда он в числе штурмовавших Зимний бежал по дворцу, на его ноге размоталась обмотка. Он присел поправить ее. Оглянулся. Оказалось, присел на царский трон.

Тихонов смеется, хлопая себя ладонями по коленям, долго откашливается, жуёт губами, как будто в рот ему попало что-то вкусное. Он охоч до подобных историй, похожих на правду, и сам мастак их рассказывать. Но, откашлявшись, вытерев глаза, он совершенно серьезно наклоняется ко мне:

— Надеюсь, вы нигде не написали об этом?

Я киваю головой, мол, не волнуйтесь, а в глазах его вижу гаснущие искорки, и тут же ловлю себя на крамольной мысли: если б написал, Тихонов побранил бы, а в душе порадовался. Он любил фантазеров и, как мне казалось, немного стеснялся этой своей почти детской любви. Оказавшись в больнице и единственный раз разрешив мне навестить его, он вдруг заговорил, что хорошо бы умыкнуть его из этих хором, умыкнуть так, как в давние времена на Руси умыкали невест.

— Значит, так. Вы берете такси и подъезжаете к почте, туда, где покупают талончики для междугородных разговоров. С вами — дама. Обязательно красивая. Почему красивая? Она должна завладеть вниманием следящего за теми, кто входит и выходит из больницы. Я в это время выхожу, сажусь в такси — и ходу.

— А дама?

— Да, вот незадача. Красивых женщин оставлять в чужих руках нельзя. Давайте переиграем...

Он смеется заразительно, до слез.

Потом, успокоившись, уже почти серьезно:

— Нет, наш план побоку. Никаких побегов!

— Адвокатов рыжих испугались?

«Рыжие адвокаты» — это из тихоновской «Орды».

Николай Семенович не настроен вести литературные споры. Мысли его заняты другим.

— Вчера доставили сюда нашего ленинградского товарища.— И называет фамилию.— Он же переполнен новостями. Больше того, он сам — творец этих новостей. Упустить его — значило бы обокрасть себя.

Тихонов с 1944 года жил в Москве, но связь с Ленинградом не утрачивал буквально ни на минуту. Он продолжал себя считать ленинградцем, представителем родного города в Москве, и, когда необходимо, ходатаем по делам земляков. Ведь только прочесть ежедневную почту из Ленинграда составляло немало труда, а ведь он не мог, просто не простил бы себе, если хоть одно письмо осталось бы без ответа.

— Вы же председатель комитетов, а не Чрезвычайный и Полномочный Посол!

— Посол...— Он шевелил губами, будто пробуя слово на вкус.— Что ж, слово как слово. А должность — высокая. Я на них, наших послов, посмотрелся в разных странах. Конечно, звучит: представитель державы, а на деле — изнурительная работа, требующая напряжения сил и умения... Так что от послов меня, пожалуйста, увольте. Не гожусь. Я, если хотите по-честному, ленинградец с московской пропиской. Устраивает?

Снова заразительно смеется своей выдумке. В самом деле, какой резон ему решать вопрос: хорошо или плохо, что он оказался в Москве? Так было надо! Железное слово НАДО почти всю жизнь определяло линию его поведения. Он всегда делал то и так, как было НАДО людям, стране и, конечно, ему, ибо вне народа и страны не мыслил он своей жизни.



НЕСКОЛЬКО СТРАНИЦ БИОГРАФИИ

Собственно, всем, чего Тихонов достиг в жизни, обязан он стране, согражданам и счастливой звезде 1917 года, лучи которой осенили его путь.

Он родился в декабре 1896 года в Петербурге, в семье, как он сам писал, «далекой от всякого искусства, от всякой науки». Его отец Семен Сергеевич был мужским парикмахером, мать Екатерина Давыдовна — портнихой. Родители вели родословную от крепостных крестьян: владельцем бабки был граф Шереметев, а деда — граф Бобринский. Семи лет Николай Семенович выучился читать и писать, учился в обычной школе, а потом поступил в Торговую школу. Николаю Семеновичу была уготована дорога родителей. Ведь пошел же по ней старший брат Семен, ставший мастером по парикам. Выбор пути для выходцев из трудовых семей был невелик.

И все-таки в его жизнь вошло чудо. Началось это с детства.

Оно прошло в доме на углу нынешних улиц Дзержинского и Герцена. Через много лет Тихонов упомянет этот дом и то, что жил в нем Герцен, и то, что мимо него «здесь Пушкин по Морской ходил».

Ну как же прочно он построен,
И без особенных затей,
Он не уступит древней Трое
По монолитности своей.

На фасаде дома висит мемориальная доска, увековечивающая память великого писателя, который, по сло-

вам В. И. Ленина, сумел в крепостной России сороковых годов прошлого века «подняться на такую высоту, что встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени». Известно ленинское определение, где указывается, что Герцена «разбудили» декабристы, а он своей активной общественной деятельностью подвинул к борьбе с самодержавием передовую молодежь.

Юный Тихонов не мог знать этого. Но город постепенно раскрывал перед ним свою историю, на каждом шагу его ждали здесь открытия. За громадой Исаакия, мимо которого он шел в школу на Почтамтскую улицу, простиралась Сенатская площадь, где, казалось, все еще гнездится пороховой дым от пушечных выстрелов: здесь почти сто лет назад царь Николай I в упор расстреливал декабристов. За плечами оставалась громада Дворцовой площади. По ней в октябре 1917-го пошли на приступ пролетарии.

«Вокруг меня жил громадный город,— писал впоследствии Тихонов.— Красота его улиц, набережных и площадей, красота, воспетая русскими поэтами, не могла не действовать на мое воображение. Знал я и заводские окраины столицы, и жизнь бедных и бесправных людей. Видел лужи крови вечером 9 января 1905 года на Дворцовой площади, костры, вокруг которых грелись военные патрули. Был в Технологическом институте во время «осады» его семеновцами, которыми командовал палач полковник Мин, усмиритель московского восстания».

Тихонов дышал воздухом вольнолюбивого и революционного Петербурга. И это не могло не отразиться на формировании его личности.

Конечно, и красота Петербурга также сыграла большую роль в становлении поэта Николая Тихонова. Но справедливости ради следует сказать, что в ту пору, пору детства и самой ранней юности, увлекался он другим.

«Книги были моими главными друзьями,— вспоминал он в автобиографии.— Они рассказывали мне о чудесах мира, о всех странах, обо всем, что есть на земле хорошего. Я смеялся и плакал над книгой от радости и от со-

чувствия людям, страдающим от несправедливости, от неравенства, от угнетения.

Книга заставила меня думать о том, каким надо быть в жизни. Я не любил злых книг, где писатель издевался над людьми, не любил пустых книг, которые не позволяли радоваться или печалиться. Я любил книги, где были герои, умеющие все делать хорошо, герои, приходившие на помощь людям, боровшиеся за правду, побеждавшие все зло. Под влиянием книг начал я с детства сам сочинять романы, где мои герои много путешествовали, сражались за свободу угнетенных народов, были красивые, храбрые, умные. Такие герои мне нравились, и даже если они умирали в борьбе, мне не было грустно, потому что они правильно вели себя и ничего не боялись — ни испытаний, ни смерти.

Любил географию и историю. Поэтому в моих книгах, которые сам иллюстрировал и переплетал, действие переносилось из страны в страну. Я освобождал малайцев из-под ига голландцев, китайцев — от чужеземцев, индусов — от англичан».

До книг было другое и весьма своеобразное увлечение. О нем мне рассказывала сестра Тихонова Антонина Семеновна, да и сам Николай Семенович любил вспоминать.

В семье Тихоновых, где ценилась каждая заработанная копейка, чтение признавалось занятием праздным и потому не поощрялось. А знания, почерпнутые мальчиком из книг, просили выхода. Ими хотелось поделиться. У взрослых не было времени его слушать. И тогда юный Тихонов рисовал картинки, собирал в каком-нибудь укромном уголке ребятишек младше себя, выдавал каждому за терпение по копейке и читал «лекции с показом картин».

Не так ли выработал он в себе первые навыки живого рассказа, не тогда ли впервые приобрел умение владеть вниманием слушателей?

Шло время. Голенастый подросток, бредивший Индией, только что окончивший Торговую школу, мечтавший о путешествиях по неведомым морям и странам, должен был

вносить свою толику в скудный бюджет семьи. Он пошел работать писцом в Главное морское хозяйственное управление. Как-то незаметно вырос: плечи его раздались, мускулы налились силой, а голова гудела от стихов, своих и чужих. Служба под Адмиралтейским шпилем была скучна, как жизнь семьи, но книги по-прежнему оставались его верными и интересными собеседниками. Чтение укрепляло веру в будущее, поддерживало мечты о дорогах, которые хотелось пройти, а настоящая жизнь, полная противоречий и несуразностей, пусть еще не осознанных, рождала тем временем смятение души. И на бумагу ложились первые стихи. Подражательные, несовершенно. Но в них сохранилось то, что смущало юношу:

Как взгляд волнения ночного
Со взглядом дня не схож,
Как дважды сказанное слово —
Двойная ложь.

Под этими строчками стоит дата — 1913 год. Другие стихотворения были сочинены еще раньше. «Первое стихотворение написано мною четырнадцати лет — „На смерть Льва Толстого“», — уточнит Тихонов во вступительной статье к семитомному собранию сочинений.

Молодой человек чувствует, что нужно жить иначе, лучше, чем живут почти все вокруг. Но — как? Ответа он пока не находит.

И вот — иное, разочарованное:

Мы не для смерти умираем,
И не для жизни мы живем.

Даже сегодня, когда минуло больше шести десятилетий после появления этих стихов, напоминающих записи в дневнике, при чтении их становится знобко. Как же трудно было тогда молодому человеку, лишенному жизненного опыта, разобраться в происходившем! Он пишет о смерти.

Не мечтай, не думай и не числи,
Мир стал глубже, тверже и полней,

Сколько смерть скосила моих мыслей,
Сколько жизнь скосила моих дней...

Но смерть в его первых стихах скорее иероглиф, чем осмысленное им понятие, чем та реальность, с которой через несколько месяцев он столкнется лицом к лицу и тогда уже по-настоящему ужаснется ей. Европа была накануне мировой войны.

Молодой поэт увлекался Киплингом и иногда видел себя этаким суперменом. Тогда это было модно. Он не мог знать того, что солдатская жизнь, радужно представленная и воспетая английским поэтом, обернется для него совсем иной, страшной стороной.

— Стихи Киплинга были для меня глотком свежей воды,— рассказывал как-то нам Николай Семенович.— Но и тогда я видел, как со штыков томми капала невинная кровь. Я хотел бы, чтобы вы этого не забывали. Киплинговский томми— всегда в оппозиции к своему народу и всегда в своих завоеваниях приносит беду народу другому. Не могу сказать, что тогда, в годы, предшествовавшие первой мировой войне, я понимал это глубоко. Но я любил индусов, мечтал потолкаться на рынках Калькутты, послушать, как шумит Бенгальский залив. И это не могло не сказаться на моем отношении к Киплингу. Но мог ли я, рожденный в России, завидовать тяжкой участи солдата британских колониальных войск, от которого во всем мире люди бежали, как черт от ладана?

Так рассуждал зрелый Тихонов. А в юности он метался, мучительно искал свое место в жизни. Вспомним, что только что над Россией прокатился гром первой русской революции. Сверкнувшие в ее небе молнии не озарили путь таким, как юный Тихонов, а лишь высветлили отдельные его куски. Жить легче не стало. И это тоже нашло отражение в стихах.

Куда мы идем? Расскажите, кто знает.
Поистине темны пути.

Становилось понятно, что в одиночку не нащупать верных ориентиров. С кем же и куда идти?

Пылай, заря, не моего восхода,
Лети, звезда, не моего пути,
Я — сын земли родного мне народа
И не могу дорог к нему найти.

Мучительные поиски могли бы продолжаться долго. Но небывалая еще гроза расколола небо России. Началась первая мировая война. Писец Главного морского хозяйственного управления отказался от брони, ушел на фронт, стал солдатом гусарского полка. Не под золотым шпилем Адмиралтейства, не в ходе общения с прогрессивными офицерами флота, рассказывающими о броненосце «Потемкин» и подвиге капитана второго ранга Петра Шмидта (которого все мы почему-то зовем лейтенантом), а на полях сражений под Ригой прошел Тихонов первые свои университеты. Вспоминая о том времени, Тихонов назвал себя тогдашнего «энтузиастом-скептиком». Он возил в переметных сумках своего седла стихи:

Я бросил юность в век железный,
В арены боины мировой.

Мы прочтем о переживаниях этого времени потом — в цикле стихов «Жизнь под звездами», в книге «Военные кони».

С полей войны, из атаки под Роденпойсом, где полегли от немецких пуль многие его друзья, Тихонов вынес то, что станет для него главным убеждением:

Еще насмешка не устала
Безумью времени служить,
Но умереть мне будет мало,
Как будет мало только жить.

Перечитаем еще раз эти строчки. Не в них ли — близкое дыхание знаменитых тихоновских баллад, строки которых просились в афоризмы, в пословицы? Да, смерть не страшна ему. Поэтому «умереть» для него «будет мало». Но жизнь для того, чтобы «коптить небо», ему не нужна. Жизнь должна быть наполнена до краев. Вопрос только — чем?

Наверное, убеждения приходили не сами собой, а приобретались ценой усилий, потерь и разочарований. Но — грянула революция, началась гражданская война. Она смела сомнения и прекратила поиски. Тихонов стал солдатом революции.

В первую минуту выбор, видимо, был сделан подсознательно, из острого нежелания мириться с тем, что он видел в Петрограде и в Риге и против чего стихийно протестовала здоровая душа. С революцией связывались мечты о будущем России, ином, чем виделось из мастерской отца, из конторы Адмиралтейства, из стихов поэтов — символистов и акмеистов, которых молодой солдат знал уже неплохо. Но должно было пройти еще немало времени, прежде чем он сумел осмыслить свой выбор.

Необходимость революции признавалась непреложно, прочно. Поэт легко, даже с восторгом бросился в ее поток. Но должно было пройти известное время, чтобы книжные представления о революции сменились иными, ставшими заповедями и для него самого и для миллионов таких, как он. А пока из-под пера выходили строки, звучавшие, пожалуй, как перевод с французского. Ведь историю Великой французской революции Тихонов тоже знал отменно.

Запомни день и год
И вырежь даты в славной тверди, —
Мы купим радости свобод
Хотя бы собственной смертью.

Снова — небоязнь отдать свою жизнь за свободу. Но свобода в его сознании пока еще — трепет знамен, вспышки выстрелов, камни мостовой, превращенные в оружие. Даже тогда, когда возникают реалии происходящего, они не выходят за пределы бытовавших тогда, скажем, сразу же после Февральской революции, образов и фраз:

Ты кровью святой обогранный,
Наш молот борьбы и труда!
Народы, несите короны,
Мы их разобьем навсегда.

Но постепенно в стихах, впрочем, как и в сознании Тихонова, сплетаются в единое целое революция и Петроград. Тогда, в первые дни революции, Тихонов вдруг возвращается к наброску не законченного еще в 1915 году стихотворения. Это, пожалуй, первое его произведение, посвященное родному городу:

Ты сотворен тяжелою рукой,
И мыслью ты мозолистой украшен, —
Вот почему ты величав и страшен,
И я люблю, что ты такой.

Конечно, за плечами молодого поэта жизненный опыт был бóльший, нежели литературный. Я привожу строчки из ранних стихов не для того, чтобы показать, как хорошо начинал Тихонов, как сразу научился «мять глину» и «обжигать горшки». Это уметь к нему придет. Тут нам важнее понять другое — как шел поэт, как преодолевал в себе книжное представление о революции. Конечно, каждого поэта мы судим по вершинам. Но если поэт нам дорог, то важно еще и ощущение пути, то есть попытка сразу одним взглядом увидеть и то, что осталось внизу, перед началом штурма, и достигнутое на крутом перевале.

Он мог бы назвать себя крестником революции. Но повивальной бабкой была все-таки первая мировая война. Именно на поле брани он приобрел те качества и черты характера, которыегодились ему потом, как верному солдату революции. Увиденное собственными глазами постепенно отодвигало на второй план прочитанное.

Это проявлялось не только в стихах, но и в поведении, в разговорах, даже в манере чтения стихов. Давняя дружба связывала Тихонова с Виссарионом Саяновым. Тихонов был не только старше по возрасту. Он был старше друга на целую войну, и как ни пытался Виссарион Михайлович сгладить эту разницу, ничего у него не получалось. А вот Прокофьеву, кстати сказать, получившему путевку в литературную жизнь от Тихонова, не нужно было «подлаживаться» под Тихонова. Их юность была опалена войной,

и хотя, как мне кажется, Саянов всегда оставался более близким человеком Тихонову, чем Прокофьев, ему не удавалось стать на равных с ним — на равную ногу, хотя об империалистической и гражданской войне Саянов, возможно, знал из учебников истории больше, чем оба его друга, вместе взятые.

«Огонь, веревка, пуля и топор» научили Тихонова больше, чем книги. И, хотя он продолжал оставаться ярким книголюбом, живые впечатления, первый жизненный опыт убеждали вернувшегося с войны в Петроград солдата в том, что он может служить родине лучше, чем служил до сих пор.

В одном из последних стихотворений походного дневника он сказал:

Только я ожидаю восхода
Необычного солнца, когда
На кровавые нивы и воды
Лягут мирные тени труда.

Они пришли, эти дни мира. Но, грозные по-прежнему, они требовали полнейшей самоотдачи, службы верной, как на фронте, даже, пожалуй, еще более многотрудной, ибо службой была избрана литература.

Писатель по роду своей работы обречен на одиночество. Но только тогда, когда перед ним — чистый лист бумаги. В остальное время ему нужны люди, живая жизнь, товарищи по перу, атмосфера общения с ними — споры, диалоги, советы. Неудивительно, что молодой Тихонов пришел в созданный Горьким Дом искусств, где в ту пору собрался коллектив писателей, изъявивших желание послужить революции.

ДИСК

Не будь у этого дома подлинно богатой, увлекательной, годной для детективного романа истории, ее, начиная книгу о Николае Семеновиче Тихонове, следовало бы, пожа-

луй, выдумать. О нем, доме этом, написано столько, что его историю впору прочесть, как детектив. Не как архитектурный опус. И не как литературоведческое исследование. Но тот, кто внимательно изучает истоки нашей советской литературы, обязательно должен зайти в этот дом и обратиться к многочисленным воспоминаниям его бывших жильцов.

Итак, Мойка, 59...

В первые послереволюционные трудные годы, когда Юденич еще стоял у стен Петрограда, молодая пролетарская республика проявила поистине щедрую заботу о будущем отечественной литературы и искусства. По инициативе Максима Горького она собрала под одной крышей писателей, музыкантов, художников, чтобы в то время, когда каждый фунт хлеба был на счету, облегчить условия жизни людям, способным потом оказать помощь революции в развитии новой культуры.

В «биографии» дома до сих пор не сведены до конца «белые пятна».

Доподлинно известно, что земельный участок между Большой Морской улицей и набережной Мойки в 1768 году стал собственностью Петербургского генерал-полицеймейстера Н. И. Чичерина, который возвел на нем дом. По одним источникам — имя архитектора установить не удалось. По другим утверждается: «Ныне существующее здание возведено в 1768—1771 гг. для генерал-полицеймейстера Н. И. Чичерина арх. Ж.-Б. Валлен-Деламотом, создавшим одно из лучших произведений раннего классицизма».

Немало путаницы и в определении хозяина дома на Мойке в годы, предшествующие революции. Н. Тихонов, К. Федин, Вс. Рождественский почему-то говорят о том, что владельцами этого дома были купцы-бакалейщики братья Елисеевы. Но из книги «Весь Петроград» за 1917 год, а также из фондов Ленинградского архива литературы и искусства явствует, что дом принадлежал лишь одному из них — потомственному почетному гражданину,

ответственному дворянину, члену правления страхового общества «Русский Ллойд» Петру Степановичу Елисееву.

В книге «Весь Петроград» за 1923 год можно найти справку о Доме искусств: «дом искусств объединяет деятелей искусства и литературы Петрограда для культурно-просветительной работы, организует литературные и музыкальные вечера, издает журналы, устраивает выставки, лекции и диспуты по искусству». Назван совет Дома, в который входили: А. А. Щеголев (председатель), Н. Е. Радлов, А. Н. Тихонов (Серебров), Ю. П. Анненков, М. В. Владимиров, А. Л. Волынский, А. К. Глазунов, М. В. Добужинский, К. С. Петров-Водкин, М. Л. Слонимский и др.

«При доме искусств функционируют художественные студии — руководители Добужинский М. В. и Радлов Н. Е., литературная студия — лекторы: Волынский А. Л., Пунин Н. Н., Чудовский В. А., Чуковский К. И., клуб литературно-художественной молодежи, ядром которого является общество „Серапионовы братья“».

Как и многие ленинградцы, я не раз бывал в этом доме, где сегодня располагается вечерний университет марксизма-ленинизма. И, как все, не успевал наслаждаться гармонией архитектуры, причудливыми лепными украшениями, росписями на потолках и стенах, — великолепным мастерством русских умельцев, которые воплотили в натуре то, что талантливые архитекторы и декораторы создали на листах бумаги.

Постепенно дом этот оброс с трех сторон другими зданиями. Замечательные люди жили здесь. Со стороны Большой Морской (ныне улица Герцена) на доме висит мемориальная доска, напоминающая о том, что здесь жил А. С. Грибоедов. И соседний дом, с правой стороны Мойки, если идти от Невского (дом М. Ф. Руадзе), еще в давние времена приобрел прочные литературные традиции. 14 апреля 1860 года здесь силами литераторов был поставлен «Ревизор» Н. В. Гоголя. Роль городничего исполнял А. Ф. Писемский, Хлестакова — поэт П. В. Вейнберг, писавший под псевдонимом «Гейне из Тамбова», почтмейсте-

ра — Ф. М. Достоевский, а одного из купцов — И. С. Тургенев. Спектакль имел грандиозный успех. А еще через два года в зале Руадзе состоялся памятный всему просвещенному Петербургу литературный вечер в пользу учащихся и осужденного поэта-революционера М. И. Михайлова. На этом вечере выступали Н. Г. Чернышевский и Н. А. Некрасов. Кстати, Чернышевский хорошо знал дорогу к дому 59. Здесь был в 1862 году открыт Шахматный клуб, который должен был стать, по мысли Николая Гавриловича, одним из центров общественной жизни города. Но клуб просуществовал всего несколько месяцев и был закрыт властями.

Все это, прочитанное в различных воспоминаниях и путеводителях, приходит на память, когда идешь по Мойке. Но нас сейчас интересует другой период в жизни этого здания, а именно год 1919-й, когда здесь открылся Дом искусств (сокращенно — ДИСК).

Как-то во время ленинградской блокады я шел с Всеволодом Рождественским по Невскому. Мы держали путь в редакцию газеты «На страже Родины». Не доходя кинотеатра «Баррикада», остановились на Народном мосту, некогда называвшемся Полицейским.

— Вот посмотрите вдоль набережной. Справа дом, который многое значит в биографии добрых двух десятков советских литераторов. Когда-нибудь я расскажу вам об этом.

Воспоминания со всех сторон обступили Всеволода Александровича, и он, не замечая того, начал рассказывать немедленно.

Я, хорошо зная жизнь и быт блокадников, без особого труда, кажется, мог представить себе, как в исхлестанном балтийскими студенными ветрами городе светятся огни в окнах в доме по набережной Мойки. Иногда за матовыми от мороза стеклами мелькали какие-то тени. Постоянные жильцы спешили разбрестись по «своим» комнатам. Здесь можно было растопить «буржуйку» и немного согреться. Здесь можно было в уединении склониться над чистым ли-

стом бумаги. Со стороны не все могли понять этих людей. Что они пишут? Кто из голодных и вечно озябших будет их читать? Зачем они собираются вместе и почему, собравшись, тотчас начинают спорить?

Ольга Форш назвала свой роман, написанный о том, что она видела, живя на Мойке, 59, «Сумасшедший корабль». Тихонову нравился образ корабля, но он не принимал прилагательного. Дом искусств в его воображении был скорее ледоколом, взламывающим тишину тогдашних тревожных ночей. Он не смог выбрать тогда нужных слов для выражения своего впечатления. Слова эти придут к нему четверть века спустя в знаменитой поэме «Киров с нами». Вспомним:

Пусть наши супы водяные,
Пусть хлеб на вес золота стал,
Мы будем стоять, как стальные,
Потом мы успеем устать.

Дом искусств в те далекие времена был действующим центром культуры. Подавляющее большинство его новых обитателей были молоды, но каждый успел узнать, почему фунт лиха. Многие пришли сюда, на Мойку, с фронтов гражданской и мировой войн. Горький писал о них: «Они перегружены впечатлениями хаотического бытия России и не совсем еще научились справляться со своим богатейшим материалом». Нужно было обладать опытом и прозорливостью Горького, чтобы представить себе, что могут написать эти люди.

Обычно, говоря о Доме искусств, вспоминают прежде всего «Серapiroновых братьев» — литературное содружество молодых писателей, собиравшихся на занятия в комнате Михаила Слонимского. «Серapiroновы братья» — одно из самых сильных по составу и самых деятельных по результатам работы литературных объединений, которые знала советская литература. Из него вышло немало крупных художников слова. Но Дом искусств если и был кораблем, то отнюдь не в автономном плавании.

В журнале «Дом искусств» за 1921 год, вышедшем под редакцией М. Горького, М. Добужинского, Евг. Замятина, Н. Радлова, К. Чуковского, среди множества интереснейших материалов (А. Блок. «„Король Лир” Шекспира» — знаменитейшая речь, обращенная к актерам Большого драматического театра, статья К. Чуковского «Ахматова и Маяковский», стихи А. Ахматовой, О. Мандельштама и др.) есть заметка-хроника о самом Доме искусств. В ней говорится о том, что Дом искусств «взял на себя задачу объединения, учета литературных и художественных сил Петрограда с целью использовать их для планомерной культурно-просветительной работы».

В совет Дома искусств вошли по художественному отделу Александр Бенуа, М. В. Добужинский, Н. И. Альтман, Ю. П. Анненков, К. С. Петров-Водкин, по литературному — Александр Блок, Н. Гумилев, Евг. Замятин, К. И. Чуковский, А. Н. Тихонов и др. Открытие Дома искусств состоялось 19 декабря 1919 года. После вступительной речи А. Н. Тихонова (Сереброва) и баллотировки новых членов К. И. Чуковский прочел свою статью «О Маяковском».

С конца декабря Дом искусств приступил к организации публичных литературных вечеров и лекций по понедельникам. Понедельники Дома искусств открылись вечером, посвященным памяти Леонида Андреева. В вечере приняли участие М. Горький, К. И. Чуковский и Евг. Замятин, прочитавшие свои воспоминания о покойном писателе. М. Горький читал в один из январских понедельников свои «Воспоминания о Толстом». В том же месяце состоялась лекция К. И. Чуковского о творчестве Некрасова. В последнем вечере приняла участие и сестра Некрасова, поделившаяся воспоминаниями о брате.

Воспоминания А. Ф. Кони о Тургеневе, Толстом, Достоевском послужили темой двух вечеров.

Параллельно устраивались по понедельникам вечера, посвященные молодой поэзии... В июне состоялось два вечера Александра Блока: Блок читал свои стихи, а Л. Д. Барсаргина-Блок — его поэму «Двенадцать».

Весной возникла мысль об устройстве по средам публичных диспутов. Диспуты открылись докладом Виктора Шкловского о формальном методе исследования в литературе. Работа художественного отдела выразилась главным образом в устройстве выставок В. Д. Замирайло, Н. Бенуа, М. В. Добужинского, Б. М. Кустодиева, К. С. Петрова-Водкина.

В октябре Дом искусств чествовал Герберта Уэллса, приехавшего в Россию.

Если к этому добавить публичные лекции, постановку под руководством К. И. Чуковского сказки Андерсена «Дюймовочка», организацию концертов камерной музыки, выезды членов Дома с лекциями в районы и губернии, нетрудно понять, что ДИСК был не только центром, сплотившим культурные силы Петрограда, но и очагом культуры для всего города.

Это были не развлекательные мероприятия и не просто эпизоды в едва теплившейся культурной жизни города. В своей «Книге воспоминаний» Михаил Слонимский писал:

«Город жил в боевом напряжении, но победа молодой Советской Республики была уже ясна, неудержимо росла тяга к культуре, и молодые люди шли в большой холодный зал Дома искусств, чтобы поглядеть, послушать, поучиться...»

Писательская коммуна собиралась по пятницам внизу, в бывшей кухне. Здесь обсуждали новые произведения, в том числе стихи Н. Тихонова и Е. Полонской, рассказы М. Слонимского и Н. Никитина. Сюда принес, едва успев поставить последнюю точку, свои «Алые паруса» А. Грин. Кухня стала лабораторией молодых литераторов, своеобразной мастерской, куда посторонние не попадали.

По понедельникам Дом открывал свои двери для всех желающих. По замыслу М. Горького, свет из ДИСКА должен был светить всему городу. И действительно, «„понеделники“ все прочнее входили в культурную жизнь Петрограда».

Я пересказываю, а иногда почти цитирую воспоминания К. Феина, М. Слонимского, Н. Никитина, Вс. Рождественского и других для того, чтобы помочь читателю получить, пусть приблизительное, представление о среде, в которой шло становление писателя Николая Тихонова.

Не следует думать, что обстановка и в самом Доме и в литературном Петрограде была идиллической. Ведь революция только что победила. Социалистическое сознание у значительной части русской интеллигенции, даже той, которая искренне хотела служить новой России, только начинало формироваться. В этом нетрудно убедиться, мельком просмотрев два вышедших бюллетеня Дома искусств. Даже незрелые попытки молодых литераторов сказать свое слово о революции тотчас оказывались под перекрестным огнем врагов Страны Советов. Огонь шел из-за рубежа, из окопов внутренней контрреволюции, и в частности из Дома литераторов, который был тогда на Бассейной (ныне улица Некрасова), 11. До 1917 года в этом здании располагался игорный дом. Теперь вместо прожигателей жизни через не лишнюю мрачную торжественности переднюю сюда проскальзывали ярые антисоветчики. Тон задавали бывшие журналисты, работавшие в закрытых революцией буржуазных газетах. К. Феин в сборнике «Горький среди нас» вспоминал, что писатель предупреждал молодежь из Дома искусств о вреде, который может принести общение с обитателями особняка на Бассейной.

— Люди пережитков не понимают, что им стукнула давность. Не ходите к ним. Держитесь поближе к Дому искусств. Там интересные люди, живые.

Тем не менее с «Серапионами» Тихонов познакомился как раз в Доме литераторов.

Произошло это так.

Дом литераторов, стремясь вовлечь в свою работу молодых писателей, объявил конкурс на лучший рассказ. В нем принял участие и Тихонов, представив на суд только что написанный рассказ «Сила».

Вот что говорит о нем сам Николай Семенович:

«Этот рассказ я послал на конкурс Дома литераторов, объявленный в 1921 году. Рассказ получил третью премию. Он должен был выйти в сборнике премированных рассказов, но по некоторым обстоятельствам этот сборник не состоялся, и рассказ остался лежать в архиве. Затем архив Дома литераторов попал в Рукописный отдел Пушкинского дома, где пролежал около пятидесяти лет».

Но — бывают же чудеса! — сохранилась не только рукопись рассказа «Сила», но и рукописи многих стихов, которые Тихонов считал безвозвратно утерянными: он полагал, что они сгорели во время пожара на его даче в Переделкине. К счастью, значительная часть архива оказалась на антресолях его московской квартиры на улице Серафимовича. Этот архив еще не разобран. Но мне посчастливилось прикоснуться к нему, чтобы снова увидеть и снова подивиться, как много работал Тихонов, даже в годы, казалось бы, совершенно не подходящие для занятия литературой. И еще одно поражало: автор с удивительным прилежанием оформлял свои «книжки», переписывал их, «одевал» в обложки и переплетал.

Я перелистывал рукописный роман «В дебрях Декана». Написанный в 1911 году, он состоял из пяти частей, и пятая часть представляла собой «тринадцатый (!) том сочинений Ник. Тихонова».

Вряд ли стоит говорить о литературных достоинствах этих ранних сочинений. Но нельзя не поразиться обилию материала, привлеченного юным автором для рассказа о романтических путешествиях и подвигах своих героев. В большинстве своем они сражались — то ли под знаменами Наполеона, то ли против него, а чаще всего в Индии и других странах Востока. Конечно, особая любовь была отдана Индии. Тихонов мог бы посоперничать с иными индологами в знании материала, фактов. Все, что можно было достать в библиотеках про эту страну, было прочтано с предельным вниманием, прочтано с картой в руках, чтобы вслед за караванами пройти узкими тропами в глухие селения у подножия Гиндукуша... Пройдет полве-

ка — и глава индийского правительства Джавахарлал Неру, встретясь с Тихоновым, пошутит: вы знаете об Индии больше, чем ее премьер-министр.

Тихонов пробовал свои силы в рассказе, повести, романе, писал лирические стихи и эпические поэмы. Писал, потому что не мог не писать, потому что чувствовал, как важно научиться правильно держать в руках перо. Я листал рукописную поэму в песнях «Опрокинутые миры», помеченную 1920 годом. Сохранилась так же бережно сброшюванная книга стихотворений «Перекресток утопий», написанная годом раньше.

Многое еще не было ясно Тихонову — как сложится его собственная жизнь, как будет жить Россия, найдутся ли у нее, осененной красным флагом, друзья в мире? Вопросы не могли не волновать. К ним поэт обращался постоянно. Пытливо искал правильные ответы. А если и не находил, то сами поиски были благотворны для его поэзии, гражданского самосознания. В одном Тихонов был уверен непременно:

Мир строится по новому масштабу.
В крови, в пыли, под пушки и набат
Возводим мы, отталкивая слабых,
Утопий град — заветных мыслей град.

«Утопий град» — не очень понятно. Но если вспомнить, что Тихонов уже успел прочесть и «Утопию» Т. Мора и «Город солнца» Т. Кампанеллы, и мечтания Р. Оуэна, Ш. Фурье, не говоря уже о русских социалистах-утопистах А. И. Герцене и Н. Г. Чернышевском, то нетрудно объяснить напряженность исканий.

Еще не определены маршруты, но дороги зовут. И появляются строчки:

Забуть нельзя — враги стеною сжали,
Ты, пахарь, встань с оружием к полям,
Рабочий, встань сильнее всякой стали,
Все, кто за нас, — к зовущим знаменам.

И впереди мы видим град утопий,
Позор и смерть мы видим позади,

В изверившейся, немощной Европе
Мы — первые строители-вожди.

Тихонов складывался как поэт романтического настроения. Иные удивлялись: как это так — романтик и почти ничего не пишет о любви! «Ничего» тут звучит явной передержкой.

Да, любовная лирика его была невелика по объему. Зато в ней, подобно алмазам, сверкали такие стихотворения, как «Где ты, конь мой, сабля золотая...», посвященное М. Неслуховской. Не часто в нашей тогдашней лирике мы встретим столь пронзительное по чувству и мысли стихотворение, адресованное женщине.

На, веди мою слепую душу,
Песнями и сказками морочи!
Я любил над степью звезды слушать,
Опоясывать огнями ночь.

Не для деревенских частоколов,
Тихо-пламенных монастырей
Стал, как ты, я по-иному молод,
Крови жарче и копья острей.

Проклянет меня орда и взвоят, —
Пусть, ведь ты, как небо, весела,
Бог тебе когда-нибудь откроет,
Почему такую ты была.

Не правы те, кто утверждал, что любовь Тихонова сгорала в путешествиях и сражениях, в разведке неизведанных миров. Горение — естественное состояние поэта.

Но вернемся к поэме «Опрокинутые миры». Пятая песнь ее называлась «Звездометатель». Это — нечто вроде драматической сцены, действие которой происходит на воздушном дредноуте, летящем в межпланетном пространстве. Время действия — XXI век. В центре — конфликт между «Очеловечившимся» (торгаш в образе человека) и Поэтом. Голому практицизму не жить во имя людей. Тому, кто не знает раннего Тихонова, короткая цитата, может быть, поможет лучше узнать его. Тем более в этих строчках была затеряна одна, самая главная его жизненная позиция:

Вы — миров бесчисленные грозди
Из садов, проросших в синеву, —
Племена сверкающих созвездий
За собой на битву позову.

Души всех забвенных и убитых,
Муки всех, кому дано ожить,
Я земной с душою Селенита,
С марсианской жаждою творить.

В статье «Весло и лопата» (1929) Тихонов вспоминал: «Стихов мной написано множество, по большей части плохих. С большинством плохих стихов разговаривать много не приходится: они идут в могилу стола или в печь... Плохие стихи наполняют ящики моего стола, и я время от времени освобождаюсь от них, предварительно разгружая их. Я снимаю с них лучшие слова, лучшие строки, рифмы, причу отдельно в записную книжку».

Так в «могилу стола» пошла «Солнечная поэма» (1918) с характерной для того времени патетикой. Но и через нагромождения выпретенных слов пробивалось нечто такое, что сегодня мы вправе назвать контурами будущей программы поэта:

Кто разделил со мной немоту одиночества жизни:
Друг ненадежный? Любовница? Тени немых...
Только мечта о новой, грядущей отчизне,
Только приветы грядущих собратьев, героев моих...
Здравствуй, Титан, шагающий с ласкою гневной,
Дай мне взглянуть Солнцу, светилу родному, в глаза,
Ты, что зажег города, нивы, трупы, деревни,
Браком святым сочетал, обновленный и древний, —
Огненной ризой своей, имя которой — гроза.

Однако постепенно «железная воля», «огнеликость», «неутолимая жажда», разговор с солнцем на «ты» отбрасываются Тихоновым, как одежды, из которых человек вырастает. Не в космосе нащупывает он подлинную высоту, а на земле, в окопе, из которого, оказывается, можно увидеть куда как дальше. Именно фронтовые стихи или те из них, которые были написаны по горячим следам пережи-

того на фронте, сразу же открыли перед ним сердца его соседей по Дому искусств.

В кругу близких Николай Семенович любил вспоминать, как однажды чуть не ошибся дверью. В 1920 году в газетах было опубликовано сообщение, что в Петрограде основано отделение Всероссийского Союза поэтов. Желавших стать членами Союза просили присылать свои стихи. Тихонов не удержался от соблазна и послал пачку своих стихов, в том числе первую в нашей литературе поэму о Ленине «Сами».

Из Союза долгое время не было ни приветов ни ответов.

Однажды молодой критик Илья Груздев привел Тихонова на Мойку. Там был вечер объединения «Цех поэтов».

Груздев познакомил Тихонова со Всеволодом Рождественским, секретарем Союза. Оказалось, что Тихонова давно готовы принять в Союз.

— Обступившие меня члены «Цеха поэтов», — рассказывал Николай Семенович, — смотрели на меня довольно подозрительно и без всяких симпатий, потому что я был в старой красноармейской шинели, так как по болезни находился в это время в отпуску из армии. Мне сказали, что я никуда не должен отлучаться из Петрограда, ибо литературный Петроград отныне будет непредставим без меня. На эти слова я мог только рассмеяться.

И действительно, Тихонов вскоре понял, что ему не по пути с «Цехом поэтов». Но Дом искусств, обстановка в нем, да и большинство жильцов ему пришлись по душе. Он зачастил на Мойку.

Фронтная закалка помогла ему определить, с кем следует знаться.

Ему, фронтвику, смешно было бы ходить на занятия в поэтический кружок с почти пародийным названием «Звучащая раковина».

«Мне не понравилось на занятиях семинара Гумилева. Там чирикали какие-то комнатные стишки, авторами ко-

торых были люди, совсем не знавшие жизни». Тихонов говорил о том, что в те годы нередко под одной крышей соседствовали люди, которых завтра жизнь разводила по разным странам и материкам.

— Из всего, что запомнилось мне на занятиях «Звучащей раковины», — любил шутить Николай Семенович, — это даровой бутерброд, который иногда выдавался за деньги известного фотографа Наппельбаума.

Худой, ясноглазый Тихонов пришел тогда в Дом искусств не соискателем признания, а как равный, как товарищ по пережитому.

— Наверное, поиски новых приемов имели значение, — говорила Мариэтта Сергеевна Шагинян, — но важнее было другое: жажда знаний, тяга ко всему, что за двадцать веков было накоплено человечеством. Цель была выбрана правильно: нельзя стать писателем, не овладев культурой.

И поэтому в Доме искусств охотно слушали Акима Львовича Волинского, знатока балета, писателя и критика, не верившего в будущее России и, наверное, именно потому развенчивавшего революционных демократов. Его слушали и тут же давали не отповедь, а бой. Ведь для большинства именно революция открыла будущее. С Волинским не соглашались, спорили, но были и благодарны ему, когда в день рождения Шагинян он привел в Дом искусств начинающую и очень талантливую балерину Лидию Иванову. Ее танцы помогли молодым литераторам получить представление о балете.

Но учеба — учебой, а молодость брала свое. И в Доме искусств все время устраивалось то, что сегодня мы называем «капустниками». Тогда кино только становилось на ноги. Естественно, что оно было источником разного рода смешных и подчас злых пародий. Неожиданное театральное дарование обнаружил Н. Никитин, будущий известный прозаик, автор «Северной Авроры». А когда на гастроли в Петроград приехал ростовский театр, один из актеров его — Евгений Шварц — зачистил на Мойку, да так и ос-

тался здесь. Он стал душой «кинсамодельности», выступая автором, режиссером и актером многих пародийных сцен. Оформление таких «спектаклей» изготовлял нередко художник-конструктор В. Татлин. Кстати сказать, именно в Доме искусств он впервые демонстрировал изобретенную им «вселенскую одежду», призванную, по его мнению, символизировать интернациональное братство людей Земли.

Тихонов поселился вместе с Вс. Рождественским, как вспоминал Всеволод Александрович, в «обезьяннике» — «в довольно узком и темноватом коридоре, примыкавшем к просторной елисейской кухне. Вероятно, здесь помещались комнатухи бывшей прислуги. Комната наша была неширокой и не очень светлой. Единственное ее окно выходило на тесный бетонный двор обычного петроградского дома». Между койками был втиснут стол, по обе стороны которого трудились поэты, макая перья в одну чернильницу. Когда становилось невтерпеж от холода, один из них отрывался от работы, разжигал буржуйку и снова присаживался к столу. Дверь запиралась на ключ. К ее внешней стороне прикреплялась бумажка «Никого нет дома». Но вряд ли она останавливала соседей. Так, к вечеру обычно толкался в дверь Александр Грин. Он писал в ту пору «Алые паруса», но в его комнатенке печки не было, и он приходил сюда погреться. От него Тихонов и Рождественский узнавали, как можно разжиться бумагой, недостаток которой тогда испытывали все. Грин давно уже обошел нижние комнаты, подвал дома и нашел огромное количество конторских книг. Они тут же пошли на черновики.

Я не раз бывал в этой комнате, ныне сверкающей чистотой, лишенной хотя бы незначительных примет того трудного времени, когда здесь жили Тихонов и Рождественский. Привела меня сюда Людмила Васильевна Попова — работник вечернего университета марксизма-ленинизма, собирающая по крохам факты из истории ДИСКА. Но и без нее, руководствуясь только рассказами Тихонова

и записками Рождественского, я без труда нашел бы дорогу в эту скромную обитель двух поэтов. Здесь Тихонов написал свою знаменитую книгу стихов «Орда», а Рождественский — «Золотое веретено». Был вечер. С улицы Герцена доносились голоса. Дом был безлюден, и я стоял, насторожась, словно ожидая спиной, не появятся ли духи людей, когда-то работавших здесь.

— Зачем — духи? Слово неточное, — заметил Николай Семенович, когда я рассказал ему о предпринятой экскурсии. — Точнее, привидения. Ими мы были сами — худые, голодные, жаждавшие неясных еще свершений.

— Вас самих обступали видения недавней войны.

— Вот-вот, — словно обрадовавшись подсказке, оживился Николай Семенович. — В пухлом гроссбухе, который стал моей рабочей тетрадью, ржали кони, рвались снаряды, хрипели раненые.

Тихонов любил повторять, что на войне «выучились мы словам прекрасным, горьким и жестоким». Подобно камням в основание крепости, ложились они в строчки стихов, необычных и по словам, и по ритмике, и по особому настрою их лирического героя, романтика и материалиста одновременно.

Как-то по совету товарища Николай Семенович отправился на Бородинскую к К. И. Чуковскому, чтобы почитать ему свои стихи. Он еще ходил в военной форме, был при оружии, и здорово напугал Корнея Ивановича, открывшего дверь.

— Что вам нужно?

— Вы Корней Чуковский?

— Я, — дрогнувшим голосом признался Корней Иванович.

— Я буду читать вам свои стихи.

Чуковский пригласил Тихонова к себе.

В «Устной книге» Николай Семенович не без иронии рассказал, как пытались привлечь его в литературную группу «Цех поэтов». В этой немногочисленной литературной группе объединились люди достаточно образованные

и небесталанные, однако до удивления, совершенно, начисто не понявшие, что произошло в России в октябре 1917 года. Недаром почти все они сбежали из России, хотя в начале 1921 года успели выпустить коллективный сборник «Дракон». Это о нем написал разгромную статью Александр Блок, назвав ее «Без божества, без вдохновенья».

«Они хотят быть знатными иностранцами, цеховыми и гильдейскими,— писал Блок,— во всяком случае, говорить с каждым и о каждом из них серьезно можно будет лишь тогда, когда они оставят свои «цехи», отрекнутся от формализма... и станут самими собой...»

А пока они «топят самих себя в холодном болоте бездушных теорий и всяческого формализма; они спят непробудным сном без сновидений; они не имеют и не желают иметь тени представления о русской жизни и о жизни мира вообще; в своей поэзии (а следовательно, и в себе самих) они замалчивают самое главное, единственно ценное: душу». Этой статьей продолжалась созидательная работа А. Блока, начатая в январе 1918 года «Двенадцатью», продолженная в Большом драматическом театре, статьей «Интеллигенция и Революция» с ее страстным призывом: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию».

Тихонов захаживал в «Цех поэтов» (он помещался в доме Мурузи — на углу Литейного проспекта и нынешней улицы Пестеля). Но душой уже прирос к Дому искусств.

Отвечая тем, кто во что бы то ни стало пытался увидеть хотя бы в ранних стихах Тихонова акмеистическое влияние, Николай Семенович всегда подчеркивал не причастность к ним, а противоборство с ними. «Цех рассыпал граненые, плоские, отшлифованные стихи-стеклышки, которыми ни один живой, настоящий человек не прельстится», — писал Тихонов в статье «Граненые стеклышки».

Нельзя не увидеть и то, что расхождение с акмеистами шло не только по формальным, но — главное — по идейным линиям. Акмеистам чуждо было то понятие отчего края, без которого не мог бы родиться поэт Тихонов. Он писал, что любовь к Родине впитал с молоком матери. «И школа, и окружающие меня простые, рабочие люди, ремесленники, и прочитанные книги воспитывали меня всей силой души и сердца любить землю, на которой родился и вырос. Пушкинские строфы, лермонтовское «Ребята! Не Москва ль за нами!», гоголевская «птица-тройка», толстовские картины «Войны и мира», Денис Давыдов с его возгласом: «Еще Россия не подымалась во весь исполинский рост свой, и горе ее неприятелям, если она когда-нибудь подымется!» — все это питало юное сознание и укрепляло мою веру в будущее, в революцию, которая должна обновить всю родную землю...»

Тогда, в начале двадцатых годов, линия водораздела была намечена четко. Спустя полвека она оказалась не размытой ни на сантиметр.

«Когда я пробыл одно занятие на семинаре Гумилева, — рассказывается в «Устной книге», — мне там не понравилось. Мне не понравились эти стихи, потому что это были уже совсем какие-то комнатные стихи ради стихов. И кроме того, мне не понравился там и Гумилев. Он являлся, в руках у него были один или два томика обязательно французских поэтов, которые он картинно клал на столик. Затем он начинал выпреннюю лекцию, разбирая стихи в духе чисто формальном...»

И все-таки посещение дома Мурузи не прошло бесследно. Здесь Тихонов познакомился с бывшим краскомом прекрасным прозаиком Сергеем Колбасьевым, с молодым поэтом, скромным Константином Вагиновым, который успел выпустить несколько книг, с С. А. Волковым, слагавшим нечто вроде былин о гражданской войне и ее героях. Эта четверка вскоре объединилась в содружество, назвав себя «Островитянами». Как казалось Тихонову и Колбасьеву, «островитяне» могли бы дать жизнь новому матерку в

литературе, основанному на глубоком знании человека на войне. Но любое формальное обособление в литературе бесплодно. Недолго протянули и «островитяне»: Колбасьев уехал советником советского посольства в Афганистан, Волков пошел по юридической стезе. И все-таки «островитяне» оставили по себе память — на книжных полках крупных библиотек и сегодня можно найти тоненькие книжцы, выпущенные ими.

Напрасно мы будем искать какую-то особую платформу, объединившую «островитян». Тогда подобные содружества возникали так же быстро, как и распадались. Важно лишь отметить, что объединились для издательской деятельности люди, уже имевшие за плечами опыт борьбы с оружием в руках. Пусть не все они ясно представляли себе задачи новой, советской литературы. Но были убеждены, что она будет иной, ушедшей вон из салонов, на площади и улицы, к новому читателю. Фронтовой опыт вооружил их таким видением мира, таким пониманием хода истории, которые сразу же выделили их среди интеллигентов, пришедших служить победившему народу.

Прекрасно сказал об этом сам Тихонов:

Мы разучились нищим подавать,
Дышать над морем высотой соленой,
Встречать зарю и в лавках покупать
За медный мусор — золото лимонов.

Случайно к нам заходят корабли,
И рельсы груз проносят по привычке;
Пересчитай людей моей земли —
И сколько мертвых встанет в перекличке.

Но всем торжественно пренебрежем.
Нож сломанный в работе не годится,
Но этим черным, сломанным ножом
Разрезаны бессмертные страницы.

Это стихотворение увидело свет в книге «Орда», на титульном листе которого было названо издательство — «Островитяне».

Среди его новых друзей были сын известного художника-передвижника, бывший штабс-капитан Михаил Зоценко, бывший командир боевых кораблей Сергей Колбасьев, такие же, как он, вчерашние солдаты Михаил Слонимский и Николай Никитин, Всеволод Рождественский, который, кстати, скажет о самом примечательном факте своей биографии:

Роту иную водил я когда-то..
В песню ушла ледяная река.
За богатырку и за два квадрата
Леворукавных, за постыст клинка
И за походы — спасибо, ребята,
Сверстники, спутники в судьбах полка!

Константину Федину не пришлось побывать в окопах первой мировой войны, но, приехав учиться в Германию, он, когда началась мировая война, был интернирован и в концлагере узнал, почему фунт лиха.

Потом приедет в Дом искусств Всеволод Иванов, исходивший пол-Сибири, зачастят сюда Вениамин Каверин, Виктор Шкловский, Михаил Лозинский...

Мариэтта Сергеевна Шагинян, тоже жившая в это время в Доме искусств, близко наблюдавшая молодых литераторов, рассказывала мне об особой творческой атмосфере, царившей здесь. Внизу, на кухне, где обычно собирались молодые литераторы, шли далеко не мирные беседы. Уж очень разными были все эти люди, даже те, кто формально входил в созданную в начале 1921 года литературную группу «Серационовы братья», видевшую свою задачу, как заметил Федин, в «поисках приемов овладения новым материалом, которым тогда была прошедшая война и революция, поисках новой художественной формы».

Зверинская, 2

Этот адрес хорошо знаком всем, кто знает биографию Тихонова, кто изучает ленинградское крыло словесности. Здесь, в квартире на шестом этаже, из окон которой виден и лес труб на крышах, и дымы кораблей, стоящих у сте-

нок недалекого порта, и часть Невы, сбегаящей в залив, написаны многие стихи и рассказы Николая Семеновича. На долгие годы квартира Тихоновых станет одним из своеобразных литературных клубов города. Сюда запросто приезжали, как в гостиницу, москвичи. Сюда мы поднимались в крошечной тьме в дни блокады, чтобы посоветоваться с Тихоновым. Тогда, в тяжкие годы войны, из-за отсутствия электроэнергии лифт не работал. На двери белел листок бумаги. На нем, как приглашение, было написано: «К Тихонову стучать три раза».

Эта квартира издавна принадлежала Неслуховским, замечательной семье русских интеллигентов, оказавшейся волею судеб в центре важных событий в жизни города.

Глава ее К. Ф. Неслуховский был инспектором и преподавателем Владимирского юнкерского пехотного училища. Сам человек широких прогрессивных взглядов, он и детям своим — Татьяне, Марии, Сергею и Ирине — привил их. Татьяна, Мария и Сергей были членами ученической социал-демократической организации. Родственник Неслуховских Д. Н. Лещенко, тот самый, который по заданию большевиков изготовил в августе 1917 года ныне широко известную фотографию В. И. Ленина для пропуска на имя рабочего сестрорецкого завода К. П. Иванова, «открыл» квартиру Неслуховских для большевиков. Тогда, правда, Неслуховские жили еще на Малой Гребецкой улице, в доме 9/5. Здесь бывали В. В. Воровский, В. Д. Бонч-Бруевич, Н. К. Крупская, А. В. Луначарский и многие другие революционеры. Но самым примечательным фактом в жизни Неслуховских стало то, что здесь они приветили В. И. Ленина.

В конце лета 1906 года Владимир Ильич, работая в Куоккале на даче «Ваза», наезжал в Петербург. Ему нужно было надежное убежище. Его и предоставили Неслуховские. Для Николая Николаевича, как по конспиративным соображениям назвали В. И. Ленина, была отведена специальная комната. «Владимир Ильич приходил сюда до-

вольно регулярно в течение, примерно, двух месяцев и работал в день часов до 4-х», — вспоминал С. К. Неслуховский.

Т. К. Неслуховская любила рассказывать о первой встрече с «Николаем Николаевичем»:

— Конечно, никто не знал ни фамилии, ни подлинного имени нашего гостя. Да и спрашивать никому не пришло бы в голову. Раз его рекомендовал Дмитрий Ильич Лещенко, значит, нужно было держать язык за зубами... Помню, как Николай Николаевич пришел к нам первый раз. В передней раздался звонок. Я слышала его, но удивилась, что дверь пошла открывать не прислуга, а мама. Вошедший сердечно поздоровался, ловко скинул пальто и пошел вместе с мамой в глубину квартиры. Потом мы познакомились с нашим таинственным гостем. Однажды, когда в гостиной пили чай и за столом вместе с Лениным сидела Надежда Константиновна, я отважилась заговорить с Николаем Николаевичем. Он живо откликнулся. Я спросила: нужно ли нам, гимназисткам старших классов, вступать в партию. Николай Николаевич улыбнулся, а Надежда Константиновна порекомендовала искать связи с молодежной организацией РСДРП.

Эту историю хорошо знал и Николай Семенович Тихонов. Одно из своих стихотворений он назвал «Малая Гребцкая, 9/5». В нем есть такие строчки:

О, эта редкая квартира,
Где с наивысшей простотой
Крыло неведомого мира
Касалось мебели простой.

...Какое б грянуло смятенье,
Когда б узнали стороной,
Что здесь в тиши работал гений
Над мира новою судьбой.

Когда полиции стало известно, что дети Неслуховских занимаются революционной работой, к их отцу были применены санкции. Константину Францевичу пришлось оставить военную службу, и семья из казенной квартиры переехала на Зверинскую, 2.

Вот по этому-то адресу и зачастил к Неслуховским Николай Семенович Тихонов. Здесь охотно привечали его. Еще бы! Он был автором двух книжек стихов, которыми зачитывалась молодежь. Над ним был ореол романтика и солдата революции. Но сколь ни сильное впечатление производил молодой Тихонов, он далеко не сразу добился взаимности одной из сестер Неслуховских — Марии Константиновны. С нею, молодой художницей, проявившей недюжинные способности в работе для кукольных театров, Тихонов познакомился в Доме искусств. Одно за другим последовали два предложения, но приняты не были.

— Мы очень переживали за Николая Семеновича, — рассказывала мне Маризтта Сергеевна Шагинян. — Это была прекрасная пара. Но почему колебалась Мария Константиновна — ума не приложу. Когда вспыхнул кронштадтский мятеж, Тихонов вместе с другими участвовал в его подавлении. Его поставили на какой-то пост и забыли сменить. Два дня Мария Константиновна просидела тогда в коридоре нашего «обезьянника», ожидая, когда же вернется Николай Семенович. Именно в те дни тревоги она и сделала свой выбор.

Мария Константиновна не любила вспоминать об этом даже спустя полвека после замужества. Проще было бы сказать, что она не хотела связывать Тихонова семейными узами, чтобы не помешать так удачно складывавшейся судьбе поэта. В этом была своя правда или, может быть, часть ее.

Однажды Мария Константиновна сказала мне, что она сразу же выделила Тихонова среди многих, но чуть побаивалась его неумности и романтичности. Жизнь в Петрограде времен мировой войны и революций была суровой школой. Как мыльные пузыри лопались одни авторы, возникала слава других.

— Но была третья категория людей. Они жили, как могли и хотели. Им доставалось больше всех, хотя они почти ничего не успели сделать. Тихонов был из их числа.

А нам, столько пережившим, хотелось пусть самого призрачного, но покоя. А, живя с Николаем Семеновичем, нужно было самой кипеть, нужно было быть готовым ко всяким неожиданностям. Помните, как он рассказывал о себе в одной из своих первых «автобиографий»?

«Учился, думал — коммерсантом буду, а вышел гусар... Исколесил всю Прибалтику. Летал с лошади три раза. Контужен раз вместе с кобылой Кошкой. Участвовал в большой кавалерийской атаке у мызы Роденнойс... После этого гнул спину на разных работах: рубил дрова, плотничал, по всеобучу работал, играл «комических стариков» в некоей труппе, защищал Петроград от Юденича. Сто часов дежурил без смены, на сто четвертом свалился. ...Знаю одно: та Россия — единственная, которая есть, — она здесь. А остальных Россий — книжных, зарубежных, карманных — знать не знаю и знать не хочу. Эту здесь люблю сильно и стоять за нее готов...»

Я специально привел эту длинную цитату из записок Тихонова. Она весьма характерна для него. В ней дороги запечатленное время и вулканический темперамент поэта, его непоколебимая преданность России.

Именно эти черты были привлекательными в Тихонове для Марии Константиновны.

— Ему нужно было мое плечо, на которое он мог опереться. И не только в те полные тревог годы, — рассказывала Мария Константиновна. — Но и потом. Всегда. Чтобы не расставаться с ним, мне даже пришлось стать заправской альпинисткой и излазить вместе весь Кавказ.

Николай Семенович на всю жизнь сохранил за это благодарность жене. Она была спутником, другом, соучастницей всех его литературных затей, первым критиком.

Неудивительно, что в день свадьбы, когда молодые прибыли из церкви, на Зверинской, 2, в ходе скудного пиршества тех времен состоялся первый же литературный диспут.

Неслуховским импонировала простота Тихонова, его горячность, его патриотизм и любовь к литературе. Он открывал перед ними, людьми начитанными и взыскательными, новые горизонты. Хотя и сам немало у них научился. Особенно много ему помогала Мария Константиновна, ее феноменальная память на стихи.

— Когда у нас начинались литературные вечера,— рассказывала Татьяна Константиновна,— первенство оставалось за Марусей. Никто не мог соперничать с ней в знании поэтических текстов. Она была судьей в спорах и первоочереднойницей всего написанного Николаем Семеновичем. Ее приговор обжалованию не подлежал. Не потому ли многие стихи Тихонова остались ненапечатанными? Тут чувствуется рука Маруси.

О чем же спорили?

Ну конечно же о предназначении поэзии.

Стараниями Марии Константиновны в значительной мере квартира на Зверинской, 2, была превращена в «поэтический архипелаг», после того как закончил свое существование Дом искусств. И хотя появились в городе новые официальные дома литераторов, этот, не зарегистрированный нигде, имел огромное влияние на развитие ленинградской поэзии. Более двадцати лет квартира Тихоновых была важным литературным центром Ленинграда.

«Сколько нас, работников пера из всех республик и городов Советского Союза, ночевало под ее гостеприимным кровом! — вспоминал о квартире Тихоновых Александр Фадеев. — Сколько стихов прочитано здесь на всех языках наших народов, — стены этой квартиры опалены стихами!»

Эти слова могли бы повторить многие писатели, имена которых давно стали в ряд имен советских классиков. Пожалуй, не было ни одного молодого ленинградского поэта с двадцатых годов и до самой нашей победы в Великой Отечественной войне, который не был бы связан со Зверинской, 2.

Особенно дорог всем нам был свет со Зверинской во время ленинградской блокады. Война, конечно, не могла не внести своих поправок в хорошо налаженный быт семьи. В апреле 1942 года, прилетев в осажденный Ленинград, Александр Фадеев записал в своем дневнике рассказ Марии Константиновны: «Настоящие дрова у нас появились только сегодня. Здесь неподалеку от артиллерийского обстрела пострадал маленький деревянный домик, и районный Совет разрешил нашему кварталу использовать его на дрова... А до этого мы мебелью топили, мебель прекрасно горит... Я сожгла уже целый гардероб, несколько кресел, этажерок, рам для картин и вижу, что еще хватило бы на целую зиму».

«Мы сидели в полумраке,— продолжает А. Фадеев.— Электричества не было. Лампы не зажигали из экономии керосина. Чуть мерцали, дымя, две коптилки— по случаю нашего приезда, обычно горела только одна».

Семья Тихоновых-Неслуховских была щедро наделена редкостным даром собирать вокруг себя талантливых людей, умением их понять, повозиться с ними, наставить на путь истинный, поддержать в трудную минуту. И снова первое слово хочется сказать о Марии Константиновне, человеке, не боявшемся обидеть прямоотой, но и умевшей увидеть добрые задатки. Ей тоже многим обязаны ленинградские литераторы, особенно блокадной поры. В то время Николай Семенович не часто бывал дома: работа в писательской группе при Политуправлении Ленинградского фронта требовала от него напряжения всех сил. Приходивших приветила Мария Константиновна. Она не могла заменить Тихонова, но слово ее было дорого всем нам. Я видел, с какой любовью относились к ней Михаил Дудин, Георгий Суворов, Алексей Лебедев, многие другие поэты, для которых она готова была и мать родную заменить, и советчицей стать, а ее поистине энциклопедические познания в поэзии нередко заменяли библиотеку.

Эта квартира, кажется, и по сей день еще хранит память о том, что происходило здесь не только когда Тихонов еще жил в Ленинграде, но и когда приезжал на берега Невы из Москвы. Жаль, что тогда не было магнитофонов, да и многие гости Тихоновых-Неслуховских не считали нужным записывать то, чему бывали они свидетелями на Зверинской.

Однажды я застал у Тихоновых Анну Ивановну Зеленову, хранительницу Павловского музея. Николай Семенович представил ее:

— Хранительница! Лучшего слова не выдумать. — И, обращаясь ко мне, спросил: — Вы знаете, что сделала эта женщина?

Кто в Ленинграде не знал о подвиге Зеленовой, сумевшей вместе со своими товарищами сберечь коллекции Павловского дворца-музея в годы войны и уйти из Павловска с ними и, главное, с описями их буквально на глазах гитлеровцев!

— Как богаче мы были бы, если б Зеленовых насчитывались не единицы, а сотни! — воскликнул Тихонов.

Хорошо помню и тот вечер, когда квартира на Зверинской была превращена в клуб альпинистов. Наши альпинисты, и прежде всего ленинградцы, готовились к штурму высочайших вершин Памира. И снова Тихонов не смог не откликнуться — приехал в родной город и помог старым друзьям советами.

А сколько здесь было решено вопросов, важных для города, когда Тихонов стал депутатом Верховного Совета СССР, секретарем правления Союза писателей СССР!

Но не будем забывать вперед.

Вернемся к началу двадцатых годов, к тому времени, когда Тихонов пришел на Зверинскую, чтобы жить и работать.



«ОРДА» И «БРАГА»

То было время громких деклараций, отчаянных споров, имевших, казалось бы, своей целью не оставить камня на камне от «старого» искусства, но исподволь шло великое созидание.

Символист Александр Блок, обретший наконец новый голос в своем «соловьином саду», призывал «слушать музыку Революции». Как первойшую заповедь художника он провозгласил: «Революционный держите шаг!»

Футуристы доказывали необходимость сбросить с корабля современности Пушкина, а главнейший их представитель Владимир Маяковский, беззаветно служа революции, сделал все от него зависящее, чтобы в новых условиях развить традиции свободолюбия и народности, воспринятые от Пушкина, Некрасова и других классиков.

До чего уж была политически беспомощной, оторванной от конкретных дел поэзия имажинистов, но лучший из них — Сергей Есенин стал «соловьиным горлом» России.

Точно так же «Серрапионовы братья» декларировали одно — в частности, отторжение художника от повседневной действительности, а на деле в «Городах и годах» К. Федин, «Партизанских повестях» Вс. Иванов, «Шестом стрелковом» М. Слонимский и другие закладывали прочные основы литературы победившего Октября. «По общему размаху мне ближе всего большевики, — писал в 1922 году М. Зощенко. — И большевичить я с ними согласен...»

Еще более определенной и ярко выраженной была позиция Николая Тихонова. В разгар споров и диспутов он выпустил в Петрограде одну за другой две книги стихов — «Орда» и «Брага».

Тихонов привнес в поэзию нового героя — человека дела, борьбы, немногословного, знающего или видящего что-то такое, что до него иным повидать не пришлось, человека, преданного идее. Именно оно, убеждение в непреложных истинах, острое, как сабля, сжатое, как пуля в стволе, исполненное веры в людей, ради которых романтический герой, собственно, и вступает в борьбу, придало стихам Тихонова своеобразие, выделило его среди других поэтов. Тихонов смело обратился к старинному жанру баллад, но сразу же нарушил «законы жанра»: в них не оказалось ни мистики, ни причудливых фантазмагорий, ни мрачного фона, на котором действовал обычно герой. Люди, о которых рассказывал Тихонов, уверены в необходимости своего существования. Они мало говорят, но всегда нацелены на выполнение конкретной задачи. Такими были солдаты на войне. Такими они пришли в поэзию, чтобы примером своим увлекать читателей к служению Родине. Романтический ореол, который, как обычно, окружает героев стихов Тихонова, был подобен не нимбу, а солнечному лучу, высвечивающему черты современника, с которым читатель либо сам был в окопе, либо мог повстречаться на улице, либо в ту пору начинал восстановление хозяйства молодой Советской Республики.

Сохранился протокол заседания издательства Петросовета № 23 от 11 февраля 1922 года. На нем присутствовали старые большевики-литераторы П. Арский, В. Быстрянский, И. Ионов, В. Невский... при секретаре К. Федине. Любопытно, что с 11.30 до 15 часов было обсуждено 74 вопроса. Под номером 66 слушали ходатайство Н. Тихонова о разрешении на печатание его книги стихотворений «Орда» в количестве 2000 экз. Постановили: разрешить.

Бумагу для «Орды» он сам на детских саночках привез в типографию, «Брагу» издал на деньги, вырученные от продажи... привезенного еще с фронта империалистической войны кавалерийского седла.

Обе книги поставили Николая Тихонова в первый ряд поэтов молодой Советской России.

Это объясняется отнюдь не тем, что Тихонов удачно выбрал тему, как полагали некоторые критики. Слов нет, тема важна.

Но первыми же своими книгами он внес в поэзию дыхание новой жизни, нового героя, который, как отметил в своей статье известный критик А. Воронский, возмужал в годы революции, на полях империалистической и гражданской войн. «Поколение Тихоновых не сгорело, оно окрепло в тяготах нашего времени. Больше, оно выучилось впервые «словам прекрасным и жестоким». «Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат». Другой материал пошел на Тихоновых. Тот, из которого куется булат».

И еще одну особенность следует отметить. В пору, когда представители разных «измов», соперничая друг с другом, коверкали русский язык и русский классический стих, Тихонов сохранил непоколебимую веру в него, в еще не до конца открытые возможности его.

«Орда» и «Брага» как нельзя более убедительно свидетельствовали о необыкновенно быстром росте новых литературных сил, видящих свой долг в том, чтобы воспеть новую Россию.

Тихонов в своих сборниках не избежал декларативности, но за многим написанным им стояло пережитое на фронтах. Ведь после империалистической войны, вступив в Красную Армию, он целых три года, до самого окончания гражданской войны, не снимал с плеч гимнастерки, не ставил оружия в пирамиду.

Об этом с присущей ему простотой Тихонов скажет в одной из автобиографий (кстати, в ней он ведет речь о се-

бе в третьем лице): служил в «1-й советской роте им. Либкнехта. Гражданская война уже грызет окраины. Все на ногах. Не до стихов», хотя тут же признается, что над стихами работает по ночам. Без всякой рисовки он мог сказать о себе:

Жизнь учила веслом и винтовкой,
Крепким ветром, по плечам моим
Узловой хлестала веревкой,
Чтобы стал я спокойным и ловким,
Как железные гвозди — простым.

Именно «весло и винтовка» были первыми спутниками солдата и поэта, а яростная и кровавая сеча на поле боя учила его сдержанности и неторопливости, словам, способным передать читателю пережитое.

Война и революционные бои, тяготы и невзгоды открыли для Тихонова новую романтику. Главное в ней было — служение Отечеству, жажда самоотдачи во имя общего дела. Недаром «Орда» открывалась стихотворением, которое и по сей день не утратило своей завлекательной образной силы:

Праздничный, веселый, бесноватый,
С марсианской жаждой творить,
Вижу я, что небо небогато,
Но про землю стоит говорить.

Даже породниться с нею стоит,
Снова глину замешать огнем,
Каждое желанье простое
Осветить неповторимым днем.

Так живу, а если жить устану,
И запросится душа в траву,
И глаза, не видя, в небо взглянут, —
Адвокатов рыжих позову.

Пусть найдут в законах трибуналов
Те параграфы и те года,
Что в земной дороге растоптала
Дней моих разгульная орда.

«Брага» почти сплошь состояла из баллад. Тихонов взял старую форму, но наполнил ее новым содержанием. Содержание в свою очередь не могло не отразиться на форме. Строки баллад Тихонова можно сравнить с проводами, несущими электрический ток. Язык баллад сжат, мысль стремительна, стихи освобождены от всего лишнего, того, что могло бы затормозить действие. В них просторно лишь ветру революции. Им, этим ветром, полны паруса кораблей, начавших небывалое плавание.

Перечитаем заново балладу «Перекоп», «Балладу о си-нем пакете», «Балладу о гвоздях», другие, не менее знаменитые. Они давно зачислены в разряд советской классики, зачислены не по приговору ученых, но прежде всего по горячему читательскому признанию. Каждое новое поколение читателей входит под высокий свод поэзии Тихонова и узнает не только о времени, прошумевшем над Россией, но и о людях ее. Отсюда — неисчерпаемость баллад, как неисчерпаемость картин, принадлежащих кисти великих мастеров.

Не заглушить, не вытоптать года, —
Стучал топор над необъятным срубом,
И вечностью каленая вода
Вдруг обожгла запекшиеся губы.

Владеть крылами ветер научил,
Пожар шумел и делал кровь янтарной,
И брагой темной путников в ночи
Земля поила благодарно.

И вот под небом, дрогнувшим тогда,
Открылось в диком и простом убранстве,
Что в каждом взоре пенится звезда
И с каждым шагом ширится пространство!

Это — запев «Браги». Небо в балладах — алое, грозное, под стать новому флагу, взмывшему над землей. Много звезд, и все они — действующие, — «алый блеск тех звезд пятиконечных» как бы сопутствует героям. Надо ли удивляться, что и в самый героический час штурма Перекопа

они не гаснут, их не закрывает тяжкий дым разрывов снарядов:

Катятся звезды, к алмазу алмаз,
В кипарисовых рощах ветер затих,
Винтовка, подсумок, противогаз —
И хлеба — фунт на троих.

Мы увидим, как «живыми мостами мостят Сиваш», как «мертвые, прежде чем упасть, делают шаг вперед», как впервые ловит в прицеле винтовки «угрюмый горец» одного из «захватчиков старых», поработивших Афганистан, как «форпостом трудолюбия красуется Армения», ставшая советской.

Приведенные отрывки должны дать какое-то представление о книге, емкой по слову и разнообразной по охвату жизненного материала.

«Те стихи Тихонова, которые мне удалось прочитать,— писал М. Горький К. Федину,— рисуют передо мною автора человеком исключительно талантливым... Есть у Тих. изданные стихи? Не пришлет ли он мне? Спросите».

Еще через одно письмо (20 декабря 1924 г.):

«Что Тихонов, не прислал бы мне свои книжки? Стихи его — прекрасны».

Не прошло и месяца, как Горький снова пишет Федину:

«Получил книги Тихонова. Прошу вас: передайте ему мой искренний привет и мое восхищение: очень хорошо, стройно растет этот, видимо, настоящий».

«Книга первоклассная»,— сказал о «Браге» А. Луначарский.

Из «островитян» особенно выделил Тихонова В. Брюсов.

В самом деле, герои стихов Тихонова живут в особых условиях. Война для них стала бытом. Мелочи как бы утратили свое значение. На первый план вышли реальные ценности, которые вот сейчас, в данную минуту необходимы,— порох и свинец, верный конь и верная рука, уменье, прежде чем захлебнуться кровью, выполнить приказ.

«Утонченности и рефлексии», эстетической и психологической эквилибристике в этой жизни нет места. Люди стали просты и тверды, как гвозди, а подвиг — обычной нормой поведения. Но именно в такой жизни они увидели новый смысл будущего.

Тихонов и его друзья по походам, еще не освоив азы марксистской философии, уже стали волею развития России солдатами революции. Они с честью вышли из военной сечи. Им предстояло еще многое передумать. Но школа войны поможет безошибочно выбрать, «в каком идти, в каком сражаться стане». Все это вызвало всеобщий интерес к «Орде» и «Браге». Появление этих книг, равно как героев Алексея Толстого (Гусев из «Аэлиты»), комиссара Васьки Запуста (в повести Вс. Иванова), молодежи из повести А. Малышкина «Вокзалы», свидетельствовало не только о том, что революция получила достойное пополнение, но и о том, что она развивается.

Вот почему книги Тихонова получили высокую оценку партийной печати.

Журнал «Печать и революция» счел необходимым несколько раз возвращаться к стихам Тихонова, видя в его творчестве плодотворную попытку поставить перо на службу революции.

Продолжая полемику с представителями разных литературных направлений и групп, Ю. Тынянов в 1923 году писал в журнале «Печать и революция»:

«Мертвы, хотя и безукоризненны стихи Сологуба, застыл в «классицизм» символизм Ходасевича, однообразна краснота Кузмина, отвердевают формы Рождественского, — и беднеет «смысл». А рядом стихи Тихонова, где жива форма, как взаимодействие, как борьба элементов, — и у простых слов особый смысл».

На стихи Тихонова откликаются даже такие журналы, как «Жизнь искусства», «Россия», «Гостиница для путешественников в прекрасном», «Новая русская книга». Разные по своей ориентировке, они единодушны в признании явления.

Любопытно, что М. Шагинян писала в 1922 году в журнале «Россия»:

«По уточненным кристаллам «вымершего Петербурга», по формам, отошедшим в воспоминания, протоптывает тяжелыми копытами «Орда» Тихонова, неся неизбежную элементарность, резкую певучесть, освежающие неожиданные прозаизмы и — главное — новую живую жизнь.

Что же, я не моряк и не конник.
Спать без просыпа? Книгу читать?
Сыпать зерна на подоконник?
А! Я вовсе не птичий поклонник,
Да и книга нужна мне не та...

И какая нужна ему книга, кроме книги жизни? Варвар прост и знает, чего он хочет. Он принес с собою огонь, веревку, нож, собак, память о мамонтах и любовь, ясную и жестокую, как он сам».

Как это не похоже на то, что декларировал в «Гостинице для путешествующих в прекрасном» А. Марленгоф. Он считал, что «современная эстетика пустила козла в огород, т. е. ремесло в лоно прекрасного». Считая себя романтиком, он начисто отрицал необходимость ремесла, именно того умения ясно и точно выражать мысли, которого так настойчиво добивался Тихонов.

К. Федин писал из Ленинграда М. Горькому 16 июля 1924 года: «...у Тихонова изумительные стихи. Работает он неустанно, добивается, отказывается, идет упрямо и стремительно, как огонь... Он теперь один, на воле, веселый и крепкий. Почитали бы в наших журналах, — какое множество появилось «подтихоновцев», — везде и всюду «Баллады». А Тихонов давно уже бросил все эти песни про гвозди, пакеты, отпускных солдат и живет «на доходы» с популярнейших своих прекрасных поэм, над которыми тоже смеется».

«Тоже смеется!» Очень тонко передано состояние Тихонова, когда начиналась слава его и когда он действительно испытывал «марсианскую жажду творить».

Как бы обогатилась наша современная поэзия, если бы признанные метры ее могли бы взглянуть на то, что сделано ими, с улыбкой, вспомнить старую истину: прекрасному нет предела.

После выхода в свет «Орды» и «Браги» Тихонов с головой окунулся в литературную жизнь, но не сделал еще окончательного вывода — кем быть. В письме М. Горькому он написал, что не хочет быть только литератором. Как свидетельствует сам Тихонов в предисловии к семитомному собранию сочинений, Горький ответил: «...опечалили слова «уйти только в литературу я бы не смог». Хотел бы, чтобы Вы ошиблись в этом: ушли только в литературу, ибо всякое дело требует от человека всецелого погружения в любовь к нему, делу».

Но можно ли сказать, что эти слова Горького решили судьбу поэта? Тихонов до конца своей жизни высоко ценил Алексея Максимовича и как литератора и как общественного деятеля. Но ему было чуждо преклонение перед Горьким, как перед божеством. Воздавая ему должное, Тихонов спорил с Горьким. Их оценки одних и тех же явлений нередко бывали разными. Это только укрепляло чувство их взаимного уважения. Да и товарищи по поэтическому цеху высоко ставили самостоятельность Тихонова, его споры с «самим» Горьким. Он не спешил согласиться с Горьким в окончательном выборе пути. Но — жить без литературы он уже не мог. Это было ясно и ему самому, хотя по молодости лет он не мог охватить мысленным взором лежащий перед ним путь. В одном не сомневался: он будет нелегким.

Впрочем, и в «Орде» и в «Браге» было немало «сбоев». Это относится и к оценке ряда явлений, объяснявшейся стремлением выжать из стиха сентиментальность, сделать стих сжатым, обрывистым до хрипоты, что иной раз рождало недомолвки. Не сумел он окончательно уберечься от попыток формотворчества.

В ряде поэм, написанных сразу же после «Орды» и «Браги», он, как многие тогда, увлекался поисками новых

форм выразительности. Поиски успехом не увенчались. Стихи его вдруг как бы отяжелели («Лицом к лицу», «Дорога»), «он все больше и больше впадает в слово-фокусничанье, если хотите — словоблудие». Эти слова принадлежат А. Луначарскому. Он с горечью писал, что Тихонов «добровольно сверг себя с замечательной высоты, на которой стоял в „Браге“».

М. Горький писал 17 ноября 1928 года К. Федину: «Грустно, что Тихонов подчиняется Пастернаку, и получаем из него Марину Цветаеву, которая истерически переделывает в стихи сумасшедшую прозу Андрея Белого».

Насколько обоснованной была эта тревога?

Думаю, что Николай Семенович дал для нее немало поводов.

Помню, как-то, кажется, в начале шестидесятых годов, Тихонов повез меня к давнему своему знакомому Ивану Михайловичу Гронскому. Участник Великой Октябрьской социалистической революции, сын рабочего-народовольца, умершего в царском застенке, бывший редактор газеты «Известия» и журнала «Новый мир», Гронский знал и помнил многое. Тихонов не был в числе друзей Ивана Михайловича, но на этот раз Гронский обратился к нему с просьбой сохранить архив Е. Ф. Никитиной, организатора знаменитых московских «никитинских суббот» — вечеров, на которые еще с 1910-х годов сходились интереснейшие люди, в том числе литераторы.

Е. Ф. Никитина, можно сказать, легендарная личность. В 1914 году она организовала литературное объединение в Москве, вокруг которого собрала немало интересных молодых писателей, литературоведов, музыкантов, художников. Здесь бывали Л. Гроссман, В. Лидин, Л. Леснов, Б. Пильняк, А. Новиков-Прибой и многие-многие другие. Объединение выпускало книги, а сама Никитина ревностно собирала автографы, картины, книги. Существует известная картина К. Юона «Никитинские субботники», на которой мы без труда найдем много известных нам лиц.

Тихонов живо откликнулся на просьбу Гронского. Государство приняло коллекцию Никитиной на хранение, а в 1962 году этот фонд влился в Государственный литературный музей в Москве.

— А я, Николай Семенович, вашу «Орду» до сих пор наизусть помню,— сказал Гронский.— В тяжкие мои годы она помогала мне не пасть духом.

Тихонов буквально оторопел от такого неожиданного признания. Он покраснел от удовольствия и попробовал шутить. Но, видно, признание Гронского тронуло его до глубины души.

В тот день я снова повел разговор об отношении Николая Семеновича к критике.

Конечно, как и всякому писателю, говорил Николай Семенович, ему была приятна похвала. Но к критике он тоже относился спокойно, когда она не пыталась представить его не тем, кем он был на самом деле.

— Когда тебя критикует друг, будь особенно внимательным. Он от чистого сердца может переувалить тебя, и тебе потом жить с завышенными оценками будет трудней. Недруг видит зорче, читает внимательней. Стало быть, отмечая шелуху неприязни, заставь себя вчитаться в суть конкретных замечаний. Они могут оказаться полезными.

— Неужели вы и тогда, в двадцать втором, рассуждали вот так — по-библейски мудро?

— Как бы не так! Я не считал себя сложившимся поэтом, но самолюбием не был обижен. Именно самолюбие заставляло меня тогда давать сдачу критикам, а — главное — работать и работать. Мы судим строго графоманов за то, что они изводят понапрасну горы бумаги. Но и талантливый писатель, если по-настоящему хочет научиться работать, должен не жалеть ни времени, ни бумаги. Я не верю в прекрасные сказки о том, что к кому-то пришло вдохновение и он, присев к столу, выдал на-гора шедевр. Враки! Натри мозоли, исчеркай сотни страниц, а потом найди мужество переписать «окончательный» вариант — может быть, тогда из тебя получится писатель.

Так мы разговаривали часами, и трудно, крайне трудно было упросить Николая Семеновича показать то, что не вошло в первые издания «Орды» и «Браги».

— Что ты мучаешь человека,— покажи,— сердилась Мария Константиновна.

— Нечего показывать,— разводил руками Тихонов.

Но однажды Мария Константиновна прочла мне по памяти целую книгу стихов Тихонова.

— Откуда они? Из «Орды» и «Браги»?

— Некоторые написаны еще раньше.

Но хочется сказать не только о высокой взыскательности к себе Тихонова. Он мгновенно стал известен как поэт. На литературных вечерах с его участием залы оказывались переполненными. Тихонову устраивались самые бурные овации, особенно в студенческих и рабочих клубах.

1 января 1925 года в «Ленинградской правде» была опубликована статья Мариэтты Шагинян «Поэт Н. Тихонов». В ней рассказывалось о том, как рабфаковцы однажды пригласили к себе нескольких ленинградских писателей. К Тихонову они «подошли после чтения, хлопнули его по плечу и сказали: «Ты, товарищ, дай нам свою книжку, мы тебя просим».

Современность сказала «ты» именно этому поэту.

Немногие поэты того времени могли бы похвастать таким отношением к себе новых читателей.

Факт, о котором сообщила М. Шагинян, характеризует не только отношение читателей к творчеству Тихонова, но, что весьма важно, позицию самого поэта. С первых дней революции он пришел на службу Советской власти, народу и выражал это всеми доступными ему средствами. Уже в ту далекую пору его позиция отличалась политической активностью, напряженным темпераментом. Неудивительно, что подпись Тихонова была поставлена под известным письмом в ЦК РКП(б) вместе с С. Есениным, А. Толстым, О. Форш, В. Шишковым и другими писателями, которые выступили против попытки рапповской критики зачислить

многих писателей в так называемые попутчики. «Пути современной русской литературы, а стало быть и наши,— писали авторы письма,— связаны с путями советской, пооктябрьской России».

Кинематографические истории

Нужно было обладать поистине тихоновскими упорством и оптимизмом, чтобы сохранить интерес к кинематографу — не наш, зрительский, а профессиональный.

В один из вечеров Николай Семенович рассказал нам о том, как он был сценаристом. Не ту историю, которая отдельной главой вошла в его «Устную книгу», а скорее предысторию ее. Многие из нас ее слышали в тот вечер впервые. Но особенность Тихонова состояла в том, что он все свои устные рассказы помнил хорошо, хотя решительно не держал в памяти, кому рассказывал. Получалось, что иные рассказы нам приходилось слушать по несколько раз. И тогда шла своеобразная игра: в паузах мы подсказывали ему, что должно быть дальше. Николай Семенович ухмылялся, поглядывая на нас с лукавинкой, но рассказывать не переставал.

Это были в основном рассказы о неудачах.

Первые свои сценарии он сочинил на даче в Павловске, когда кинематограф назывался не своим теперешним именем, а иллюзионом. Впрочем, сочиняя их, автор не слышал и такого слова — сценарий. Просто, когда не оказывалось под рукой прочитанных книг, которые можно было пересказать таким же, как он сам, мальчишкам, он сочинял и записывал краткое содержание романтических и героических историй. Так он написал и рассказал друзьям истории интервенции в Мексике и про вождя народных повстанцев Бенито Хуареса. Был у него сценарий под названием «Под знаменем Ислама», а также «Новые приключения капитана Немо».

Прошло много лет, и к Тихонову обратился известный режиссер С. Тимошенко с предложением написать сцена-

рий о разгроме Юденича под Петроградом. Так появился сперва сценарий, а потом и фильм «Заговор мертвых».

До начала альпинистского сезона Тимошенко успел показать Тихонову первые куски отснятого материала.

— Это было чудовищное зрелище,— вспоминал Николай Семенович.— Все военные сцены напоминали шуточную цирковую пантомиму. Я пытался объяснить режиссеру, как стреляет артиллерия, как действуют танки. Но красноречия мне явно не хватало. Тимошенко кивал головой, будто в знак согласия, а продолжал все ставить по-своему. В конце концов он дал слово переснять безграмотные в военном отношении кадры. Я немного успокоился и уехал в горы. Когда же осенью я вернулся в Ленинград, фильм уже прошел. Втайне я даже порадовался тому, что подзадержался в горах. Иначе участники империалистической войны и обороны Петрограда могли бы меня избить за все, что мелькало на экране.

Но урок не пошел впрок. Следующим был сценарий «Глиняный лев» — о революционных событиях в Бухаре. В ту пору уже существовал сценарный отдел на «Ленфильме», и его возглавлял разносторонний ученый и литератор, знаток античности Андриан Пиотровский. Он очень хорошо относился к Тихонову и нашел тактичный ход для того, чтобы похоронить сценарий известного поэта на кладбище, где поконились безнадежные работы.

А вот со сценарием «Молодость мира», тоже построенным на среднеазиатском материале, Тихонов впервые работал серьезно и с твердым убеждением, что можно сделать хороший фильм. Когда работа была закончена, он написал «некоторое предисловие к сценарию».

В нем говорилось:

«У меня большое сомнение насчет бессюжетных фильмов. У меня прямое предубеждение против голых идеологических истин в сценарии».

Поэтому сценарий «Молодость мира» построен сюжетно, как повесть, с установкой на представимые живые события и живых людей со всеми их страстями и страстиш-

ками, на фоне такого большого события, как первая железная дорога в пустыне».

Это был сценарий не о Турксибе, но главное в нем было тоже построено на столкновении нового со старым, ислама и социализма. Однако и этот сценарий нашел свое место лишь в архиве. Зато по сценарию поэта был поставлен первый советский игровой фильм об альпинистах. Он назывался «Покорители вершин».

Попробовал Тихонов свои силы и в качестве автора песен для других фильмов. Один из них так и назывался «Песня» (авторы Ф. Эрмлер, М. Блейман и И. Прут). Задумывалась звуковая картина «о гражданской войне с тем, чтобы не только возбудить революционный энтузиазм зрителя на время просмотра, но и с тем, чтобы дать ему постоянный рефлекс этого боевого пыла в песне, которую он должен петь, выходя из кинематографа, на работе, дома и в тот день, когда его призовет Красная Армия» (так писал М. Блейман в записке Ф. Эрмлеру).

Естественно, что к тексту песни было особое внимание. Но положение осложнилось тем, что у авторов сценария уже была музыка, и Николаю Семеновичу, не писавшему досель песен, нужно было сделать то, чего он никогда не делал, — написать слова к готовой музыке. Он, конечно, не мог быть довольным своей работой и, как мне помнится, никогда не говорил об этой песне. В архиве «Ленфильма» сохранился текст ее. Вот несколько строк из нее:

Голод ли, жажду каждый изведал,
Каждый их забыл в переломный час,
Товарищи-ударники, тряхнем победой.
Рабочей победой ударим еще раз.

Откупленные кровью села и заводы,
Да, грудью пролетарской отбиты они.
Достаем же, добудем им на долгие годы
Великой работы спокойные сны.

Песня не прозвучала с экрана.

Было от чего ожесточиться, а Тихонов все больше увлекался кино. Он понял, что нельзя добиться успеха, если

не сделаешь режиссера своим единомышленником, если постановщики будущего фильма своими глазами не увидят то, что предстоит смотреть зрителям.

И вот когда возник замысел картины «Друзья» и наметилось содружество с режиссером Л. Арнштамом, Тихонов пригласил его на Кавказ, побывать в краях, где будет разворачиваться действие фильма.

Это путешествие стало испытанием всех сил соавторов. Но если Тихонов за годы своих скитаний в горах был готов к ним, то Арнштаму показалось, что он прошел круги ада. Ему пришлось не только первый раз в жизни сесть верхом на коня, но и проехать над пропастями по тропам, где не могли разъехаться даже два всадника.

Впрочем, об этом подробно и весело Тихонов рассказал в «Устной книге». Мне незачем повторяться. А вот о том, как происходило обсуждение сценария в Союзе писателей, а потом на режиссерской коллегии «Ленфильма» (1936), вспомнить стоит, тем более что ныне об этом мало кто знает, а стенограмма сохранилась.

Фильм «Друзья» должен был рассказать о становлении Советской власти на Северном Кавказе, о рождавшейся в ходе революционной борьбы дружбе народов, наконец, о выдающейся деятельности большевиков, в частности С. М. Кирова, хотя имя его прямо в фильме не называлось.

В тот день, после того как Л. Арнштам прочитал собравшимся сценарий, начались выступления. М. Козаков отметил, что он в совершеннейшем восхищении от этой вещи и считает ее «крупным явлением не только сценарного порядка», но и литературного.

— Это — подлинная, настоящая проза, которой давно уже не было. По языку, по ситуации, по обрисовке характеров — все это сделано с максимальной скупостью и в то же время с таким большим талантом, что эта вещь... открывает, с моей точки зрения, какую-то новую страницу в истории именно русской прозы.

А. Пиотровский говорил о том, что в сценарии «имеются настоящие элементы народной героики и народного смеха... Здесь найдена золотая жила истории».

К. Федин отмечал: сценарий захватывает. «Здесь придется кино подтянуться, подняться до сценария».

Н. Чуковский, соглашаясь со всеми выступавшими, сказал: «...самое замечательное в этой вещи, что она по масштабам ни с чем не сравнима, что мы знаем в этой области, может быть, только с «Чапаевым» или «Броненосцем „Потемкин“».

На режиссерской коллегии «Ленфильма» не было тако- го единодушия. Но уже в докладе Петрова-Бытова зазвучали знакомые мотивы:

— Очень трудно говорить о сценарии, от которого я буквально в восторге... В первый момент после прочтения сценария мне хотелось разыскать Арнштама и поздравить его с появлением произведения мирового искусства,— так сильно подействовал на меня сценарий «Друзья».

Выступали Л. Трауберг, С. Васильев, С. Юткевич, другие мастера. Они высказали и отдельные частные замечания. Но именно частные. Когда же картина была готова, увы, она не вызвала тех восторгов, которыми был встречен сценарий.

Тихонов охотно водил друзей и знакомых в кинотеатры, гордился тем, что «Друзья» оставались на вооружении блокадного кинематографа, но тем не менее и он не мог не чувствовать, что при переносе его прозы на пленку произошли какие-то неуловимые потери.

Помнится мне его разговор с Сергеем Орловым, происшедший через много лет после выхода на экраны «Друзей». Николай Семенович только что посмотрел фильм «Жаворонок», созданный по сценарию, написанному С. Орловым и М. Дудиным. Он не читал сценария и мог судить только ленту.

— Неплохо, неплохо,— повторял он. — Но вот вопрос — как воспроизводится поэтическая метафора на экране? Когда я писал свои сценарии, я старался втиснуть поболь-

ше жизненных реалий. Мои сценарии буквально лопались от бытовых подробностей. В вашем фильме их почти нет. А результат почти тот же. Значит, что-то главное упущено нами — сценаристами и режиссерами. Что?

Извечный вопрос в искусстве. Не все могут поставить его перед собой. Еще меньшее число художников может ответить на него с той или иной мерой точности. Пока будет существовать искусство, он будет волновать литераторов и художников, музыкантов и артистов. Неудовлетворенность сделанным — это не только выражение самокритики, но и исходная точка для нового в творчестве.

Кинематографические истории не принесли Тихонову того удовлетворения, которого он ожидал. Но он не жалел потраченного на них времени. Он любил пробовать свои силы в разных областях. И при этом полагал, что ничто не проходит бесследно.

Впрочем, и внезапная любовь к кинематографу, как мы еще увидим, напомнит о себе.

Горь и пустыня

Константин Федин, наблюдавший неутолимую страсть Тихонова к Востоку, утверждал, что это была «земля, которую он знал по книгам лучше любого географа». И еще: «Один Тихонов мог бы поравняться в любознательности даже с Горьким».

Тихонов был по природе своей первооткрывателем, совершающим открытия не в тиши рабочих кабинетов и библиотек. Для него не существовало путешествия, в ходе которого можно познавать жизнь из окна вагона. Он исходил страну и свой любимый Восток собственными ногами. Земля, на которой он спал у походных костров, становилась для него родной, а люди, встреченные на заоблачных перевалах и поделившиеся с ним щепоткой табака в пустыне, — братьями.

5 мая 1929 года он писал Павлу Антокольскому: «...летние ветры уже стучат в мою дверь. Я хочу бегать по голой земле, спать у костра, смотреть в небо — переходить реки, видеть «сто битв, сто городов». Я хочу на Алтай, на озера Олонии, в горы Осетии, в пустыни Семиречья — я хочу бежать, как бежит какой-нибудь каменный козел за сто верст полизать соль на камне. Я хочу полизать соль... Я Вас спрашиваю, гражданин мечтатель, где соль? Куда Вы подевали соль? Как Вы смели ее припрятать?»

Каждый год географические карты уводили его далеко от родного города. Он презирал бродяг. Его путешествия носили осмысленный характер, и хотя привязанности возвращали его к давним местам, он каждый раз видел их как бы заново. — столь приметлив был его взгляд путешественника, исследователя.

Знаменитейший наш альпинист Виталий Михайлович Абалаков рассказывал мне об особой хватке Тихонова, по которой он узнавался покорителями вершин. В походе он не обременял никого, зато на привалах поднимал настроение всем.

Чаще всего, особенно в годы первых своих походов в горы и пустыни, Тихонов отправлялся в трудные путешествия по собственной воле. Но диалектика той жизни состояла в том, что пришелец из Ленинграда воспринимался на местах не как турист, а как полпред города Октября. Не ставя поначалу перед собой иных задач, кроме познавательных, Тихонов тем не менее оказывался пропагандистом и агитатором, помогавшим на местах укреплять Советскую власть.

С 1922 года к теме Востока, изученной пока только по книгам, он присоединил реальную тему Кавказа. «Каждый год я уходил летом в горы с небольшой группой людей, изучая народы Кавказа, их жизнь, быт, историю новой жизни», — писал он впоследствии в одной из автобиографий.

Со многими людьми сводила его жизнь, но каждый раз так случалось, что круг его друзей ширился прежде все-

го за счет бывших партизан, сподвижников Кирова и Орджоникидзе, а если он сходил с писателями, то непременно с такими, которые, подобно ему самому, хотели воспеть не только красоту окружающей природы, но прежде всего романтику революции и борьбы за ее торжество.

В ту пору Ленинград с его славными революционными, боевыми, трудовыми, культурными традициями был своеобразным маяком, освещавшим дорогу к новой жизни, кузницей кадров для отдаленных республик и малых народов. В ленинградских вузах готовились партийные работники и учителя, врачи и организаторы хозяйства. Здесь печатались книги на многих языках, а для ряда малых народов страны создавалась письменность.

Неудивительно, что сам Тихонов стал одним из первых советских поэтов, который активно занялся переводами своих собратьев, творивших в горах Кавказа. Переводческая работа на всю жизнь осталась для него не литературной службой, а естественным продолжением дружбы. «Для перевода нужна точность,— писал Тихонов,— нужно передать индивидуальность переводимого поэта, чтобы он не был похож на других. Одно из произведений я перевел даже точно в то время года и в том месте, где оно было написано».

Он хорошо знал стихи Пушкина и Лермонтова о Кавказе. Они были первыми его наставниками. Николай Семенович любил рассказывать о том, как его неграмотная бабушка Татьяна Логиновна, запомнившая песню, которую русские солдаты привезли из кавказских походов, помогла ему, сама того не ведая, лучше понять «Валері́к» и «Завещание» Лермонтова.

Отправляясь впервые на Кавказ, Тихонов уже многое знал о нем. Но действительность оказалась в сто крат богаче и величественней. Горные вершины притягивали его, тропы через перевалы не выматывали силы, а словно бы прибавляли их, хотя нередко дневной поход исчислялся десятками верст.

В Дагестане он побывал в Ашаги-Сталь, где познакомился с Сулейманом Стальским. Горький назвал Стальского Гомером двадцатого века. Тихонов стал другом дагестанского поэта на всю жизнь.

Стальский, как известно, был неграмотен, и сочиненные им стихи сын его записывал в бухгалтерскую книгу, примерно такую же, какая хорошо послужила Тихонову в дни его жизни в Доме искусств. Стальский охотно читал свои стихи. Потом ашуг попросил почитать своего гостя.

— Сулейман, но ты же плохо говоришь по-русски и ничего не поймешь.

— Поэт поэта узнает по голосу, — ответил Стальский.

Тихонов познакомился с Гамзатом Цадасá, который был широко известен среди горцев своими сатирическими стихами. Муза Цадасá была сродни музе дагестанского поэта Батырая, которому начальство запрещало читать перед народом стихи, — столь раздражала царских чиновников их сатирическая направленность. Но Батырай не мог молчать, и тогда его штрафовали. Когда перед праздником к певцу приходили гонцы и приглашали на выступления, тот обычно шутил: купите мне сначала быка для уплаты штрафа.

За Крестовым перевалом Тихонову открылся необозримый мир грузинской поэзии. Он вошел в него гостем, а остался до конца своих дней самым близким родственником. Это станет верным и в отношении Армении. Маризтта Шагинян заметила, что и старик Арарат не остался глух к лире Тихонова. Кавказ осенил Тихонова, как осенил когда-то Пушкина и Лермонтова.

В 1923 году появились его первые стихи о Кавказе (цикл «Юг»). Лето 1924 года он провел в Грузии и Армении. Там родилась поэма «Дорога» — первая в нашей литературе попытка рассказать о претворении ленинского плана ГОЭЛРО на Кавказе. Стихи о Кавказе по своей стилистике оказались сложнее баллад из «Браги». Увиденное, вызвавшее восхищение еще не было глубоко освоено («Базар», «Переход в ночь», «Дорога»), но зоркости

Тихонову было не занимать — не только художественной, но и политической. Восхищаясь первозданной красотой Кавказа, Тихонов не мог не заметить, как «идет из армянских сел горький дымок нищеты», но воочию увидел, что страшное прошлое в горных аулах уже начинает жить «через дорогу от Маркса».

Летом 1926 года Тихонов отправился в Узбекистан и Туркмению, побывал в Бухаре, Чарджоу, Красноводске, откуда морем приплыл в Баку. В одном из стихотворений о Каракумах он заметил, ошеломленный:

Так вот ты какая..
Направо — жара, солончак, барханы,
Налево — бархан, солончак, жара,
Жара — окаянная дробь барабана —
По всем головам барабанит с утра.
Тут жизнь человека особой породы:
У ней, как у соли, хрустят галуны,
Отсюда до бешенства полперехода,
Отсюда до города, как до луны.

Поэт отдает свое вдохновение и агроному, пришедшему в пустыню, радующемуся «костистому счастью дождя», и деловому человеку, и фининспектору, хотя знает, что часто «кончается пулей в пустыне галоп».

Средняя Азия полюбилась Тихонову не меньше, чем Кавказ. И он написал о ней с восторгом. Неудивительно, что когда в 1930 году туркменское правительство пригласило в республику бригаду русских писателей, первым было названо имя Тихонова. Он вспоминал: «Мы собрали бригаду из очень разных людей в следующем составе: Петр Павленко — много живший на Кавказе и в Малой Азии, он чувствовал себя на Востоке как дома; Всеволод Иванов — любознательнейший человек, выдумщик и фантазер, всякая новизна, тем более Туркмения, привлекала его, впрочем, в 20-х годах мы уже читали его рассказы, где участвуют жители Северного Казахстана, уроженцем которого он был; Леонид Леонов, автор больших талантливых произведений, не имевших прямого отношения к «азиатской теме», взял себе такую особую и важную для

Средней Азии тему, как борьба с саранчой; Григорий Санников — он, как и остальные, исключая П. Павленко, не был специалистом по Востоку, в Туркмении он серьезно занялся проблемой египетского хлопка, насущно важной для экономики этой страны; Владимир Луговской — он тоже ехал на Восток «наугад», с любопытством, не больше, но именно здесь он оставил свое поэтическое сердце и нашел для себя тему на всю жизнь».

... Решено было в результате поездки создать коллективную книгу, разбив ее на шесть тем. Тихонов выбрал кочевников — туркмен, белуджей и джемшидов, их кочевья и колхозы и горный Кара-Калинский район.

Бригада исколесила Туркмению вдоль и поперек. Как подсчитали ашхабадские журналисты, она проехала по железной дороге свыше 2000 верст, более 800 верст на машине, около 250 верст по воде — на малых суденышках, каюках и на лодках по бурной Амударье. Кроме того, немало горных дорог было оставлено позади в двухколесных арбах, в седле, особенно по горным увалам Копет-Дага и Гиндукуша, а то и вовсе «на своих двоих».

Поездка была удивительно плодотворной. Правда, коллективной книги не получилось: каждый выполнил свой урок, а когда попробовали состыковать написанное, это оказалось невозможным. Но вышел интересный альманах «Туркменистан весной». Поездка по Туркмении мало походила на наши нынешние побригадные путешествия по городам и весям страны. Пропагандой литературы писатели занимались мало, усилия их были сосредоточены на глубоком изучении жизни. Этим занимались не по-гастро-лерски, а с тщанием исследователей, и «выход продукции» был чрезвычайно высоким: П. Павленко написал роман «Пустыня» и книгу очерков «Путешествия в Туркменистан», Г. Санников создал поэму о хлопке, Л. Леонов — повесть «Саранчуки», Вс. Иванов — «Повести бригадира М. Н. Синицина» и пьесу «Компромисс Наиб-хана», В. Луговской — поэму «Дангара» и первую книгу стихов «Большевикам пустыни и весны».

Тихонов привез с собой в Ленинград книги «Кочевники» и «Юрга». Он собрал еще материал для романа о борьбе с басмачеством, в частности с Джунандом-ханом. Хан, изгнанный из Туркмении, обосновался в Афганистане и оттуда в листовках, помимо прочих благ, обещал каждому, кто падет смертью храбрых в борьбе с большевиками, отпущение грехов и место «председателя райкома в раю» (!).

Первые же рассказы из книги «Кочевники», появившиеся в печати, привлекли к себе внимание («Кочевники», «Джемшиды», «Белуджи», «Каракала» и другие). В двенадцатом номере журнала «Наши достижения» за 1930 год М. Горький писал: «Туркменские записки талантливейшего поэта и прозаика Н. Тихонова — это очерк и это подлинное искусство изображения жизни словом».

О поездке бригады в Туркмению рассказано много — и самими участниками и в книгах о них. Поэтому нет необходимости пересказывать известное. А вот Анатолий Медников в первом номере журнала «Новый мир» за 1981 год сообщил некоторые любопытные подробности. Отец Медникова в те годы командовал 1-й горнострелковой Туркестанской дивизией, части которой были размещены в разных местах от Ашхабада до Кушки.

«Принять их, как меня!» — написал М. Л. Медников коменданту Кушки, которым был бывший будапештский садовник Сабо, прошедший гражданскую войну в рядах Красной Армии. Путешествие свело тогда писателей с людьми поистине легендарными — латышом Шкильтуром, донбасским горняком Сидоровым, Анной Джамаль — одной из первых туркменок, снявших паранджу. Секретарь Красноводского райкома партии Виттола был сыном итальянки из Милана и немецкого революционера из Берлина. А рядом с ними, вместе с ними становились друзьями писателей и героями их произведений милиционер Нури, который не только был блюстителем порядка, но и одновременно почтальоном и живой газетой, председатель колхоза Азис Мамедов, возглавивший своих родичей джемши-

дов, «детей темного, как пустыня, народца», который пробует «сесть твердо на землю», работников воды и полей. Их В. Луговской назвал «большевиками пустыни и весны».

Знаменательно, что и книга стихов Луговского и книга очерков Тихонова «Кочевники» заняли исключительное место в нашей литературе именно потому, что они — не о событиях, хотя происходившее достойно самых ярких красок, а о людях, творивших историю Отечества в годы первых пятилеток.

«Мои короткие очерки, несмотря на разнообразие материала, далеко не исчерпывают современную Туркмению, — писал Тихонов в предисловии к «Кочевникам». — Эти очерки, написанные без всякой примеси вымысла, без всякой игры воображения, заключают одни сухие факты, потому что пришло время, когда Советский Восток, сбросив покрывало легендарной косности, так же по-деловому вступил на путь завоевания социализма, как и остальные территории Советского Союза».

В одном из очерков Тихонов замечает, что «социализм вошел храбро в пустыню» и «вожди кочевий, гордые сыновья набегов, могут зайти в кооператив и посмотреть, как воинственные их дружинники покупают керосин для лампы и мечтают о примусе, — или могут увидеть, как трактор спокойно взрезает вековые пласты и скакуны пустыни испуганно прядут ушами перед этим высоким и властным зверем».

Уже этот короткий отрывок дает представление о письме Тихонова-очеркиста, письме, в котором публицистика и поэзия дополняют друг друга.

Сегодняшний читатель не без удивления обнаружит, что более полусотни лет назад Тихонов увидел в облике верблюда черты, которые в наше время так вдохновенно воспел Чингиз Айтматов в романе «И дольше века длится день».

У Тихонова читаем: «Странное животное, именуемое верблюдом, когда-то было несомненно красивым, оно было задумано легким и сильным, со скульптурно правильными,

волнообразными изгибами горба и ногами, похожими на палицы Геркулеса, покрытые мохом».

Он рассказывает о дуэли верблюдов. И о победителе, который «обнажает большие, как клавиши, зубы». Вообще немногие писатели тогда обладали таким даром лаконично и точно изображать подробности быта, портреты, как Тихонов. У Керим-хана верблюжьих «седла стояли по краям шатра, как дикой формы складные кресла». Хозяин поражал «упитанностью действительно воинственной фигуры и плавными, сильными движениями, роскошные усы султанского образца, как черный жгут, пересекали его бронзовое лицо». Уши у зайцев «положены, как ложки». А вот элемент пейзажа. Тихонов рассказывает о том, как не прижилась в Туркмении мексиканская гостья гвайюла (растение — каучуковое): «Я обошел еще раз эти молчаливые поля, между которыми, как на теннисных площадках, стоят белые столбы с лесенками, только вместо рефери на них водружены рядовые метеорологические службы: дождемеры, флюгера, термометры. Поля, на которых вымерзла гвайюла, темнели пустыми полосами, как сравненная с землей братская могила».

Скупая образность письма украшала очерки Тихонова не так, как безделушки красавицу, а как единственно необходимая форма одежды.

Впрочем, я не стал бы писать обо всем этом, ибо вряд ли могу что-либо добавить к высоким оценкам туркменских очерков, уже данных нашими литературоведами. Не стал бы, если бы не одно обстоятельство.

Осенью 1941 года по всему переднему краю Ленинградского фронта звучали выстрелы снайперов. Сотни и тысячи солдат считали своим главным вкладом в защиту горда — уничтожить хотя бы одного фашиста. Естественно, мы, газетчики, охотно писали о людях этого высокого и будничного, но крайне необходимого для нашей победы долга.

Однажды наш фотокорреспондент Женя Цапко положил перед ответственным секретарем пачку фотографий

наиболее заслуженных снайперов одной из дивизий. На нас глядели с глянцевиной бумаги люди, которые через прорезь своей винтовки ежедневно видели фашистов. У них были обветренные, чуть скуластые лица, как у всех в то время, когда приходилось недоедать. Наверное, надо бы сказать без ошибки — мужественные лица. Но одно лицо, изображенное на фотографии, никак не хотело становиться в этот привычный ряд.

— Это же девушка! — воскликнул секретарь.

— Девица! — единодушно отозвались мы, хотя на обороте фотографии рукой Жени Цапко были четко выведены имя и фамилия красноармейца. Имя и фамилия были нерусскими, и, зная, что наш фотокорреспондент, в недавнем прошлом шахтер из Донбасса, не шибко грамотен, мы подумали, что Женя что-то перепутал.

— А вдруг это — новая Надежда Дурова? — бросил кто-то в сомнении.

Действительно, трудно было поверить, что это прекрасное лицо, будто сошедшее с древних фресок, с живыми глазами, тонким носом и словно трепещущими ноздрями, мягким овалом щек, может принадлежать мужчине — Хыдыру Карлиеву.

Тут что-то не так, решили мы, и на следующий день редактор послал меня в 281-ю дивизию с заданием найти Карлиева, поговорить с ним и, если будут интересные факты, написать очерк.

В расположении дивизии я встретил Анатолия Чепурова, которого еще не знал как поэта, но об отце которого, старом коммунисте и активном советском работнике в Лодейном Поле, был слышан и, кажется, даже писал о нем. Толя Чепуров был типичным новобранцем: гимнастерка топорщилась на нем и подол ее вместе с противогазом набегал на живот. Это и подслеповатый взгляд через очки делали Чепурова похожим на птицу, которая собирается клюнуть корм, лежащий впереди. Я предложил ему вместе «клюнуть» Карлиева. Анатолий обрадовался, и мы пошли на передний край.

В ту пору численность наших полков значительно уменьшилась. Можно сказать, что каждый активный штык был на учете. Тем не менее в полку Хыдыра Карлиева не нашли. Просто такой не значился в списках. Я не торопился делать какие-либо заключения о нечеткости работы нашего фотокорреспондента. В то время списочному составу не всегда было можно доверять: командование армии перетасовывало дивизии, принимало пополнение, подразделения укрепленного района перемешивались с батальонами народного ополчения. А тут еще флотские экипажи сошли на землю Ораниенбаумского «пяточка», чтобы помочь пехоте надежно прикрыть Кронштадт. Так что, не найдя Карлиева в первый день, я расстался с Чепуровым и остался искать снайпера. Но впереди меня уже шла легенда о том, что на переднем крае «работает» снайпером девушка, одетая в солдатскую форму. Это и облегчало и затрудняло поиск. Облегчало — потому, что появилось много добровольных помощников, затрудняло — потому, что немало девушек действительно было на переднем крае, и многие были красивы, с бархатными глазами и трепещущими ноздрями.

— Я знаю, кого ты разыскиваешь, — неожиданно сказал мне военврач из 13-го армейского госпиталя, знакомый еще по Таллину. Он приехал на передний край принимать раненых. — Поедем!

Я согласился. Но ехали только раненые, а мы с врачом и сестрами шли за подводами позади. Санитарные летучки стояли на приколе без горячего.

В одной из палаток госпиталя меня подвели к тяжело раненному красноармейцу. Несомненно, я видел того же человека, которого снял Женя Цапко. На подушке покоилось удивительное лицо с глазами, опущенными густыми ресницами. И только губы, плотно сжатые на снимке, теперь, обкусанные зубами, припухли. Видно, человеку нелегко было перенести недавно сделанную операцию. Держалась высокая температура, и я не рискнул заговорить с Хыдыром.

Утром следующего дня раненых отправляли на баржах в Лисий Нос.

Я подошел к носилкам, на которых лежал Хыдыр Карлиев. Он не спал.

— Кто вы? — спросил я.

— Туркмен.

Говорить красноармейцу было трудно. И тогда я рассказал ему, как мы, глядя на фотографию, приняли его за «кавалерист-девицу».

Хыдыр слабо улыбнулся и спросил:

— Дурову?

Мне показалось странным, что человек, приехавший под Ленинград из далекой Туркмении, в отличие от своих земляков, отлично владеет русским и знает литературу.

Времени было мало, и я прямо сказал о своем удивлении.

Хыдыр устало прикрыл свои прекрасные глаза и потом улыбнулся, будто в эти короткие мгновения ему удалось заглянуть куда-то далеко-далеко.

— Если знаете поэта Тихонова, передайте ему привет, — неожиданно попросил он.

— Николая Семеновича? Вы с ним знакомы?

Хыдыр отрицательно покачал головой.

Мне не хотелось быть навязчивым, но я все-таки не удержался, спросил, откуда он знает Тихонова, по книгам ли только.

— Нет, по легендам.

Он, пересиливая боль, помолчал, а потом рассказал, что в книге о Туркмении Тихонов очень смешно изобразил, как его, Хыдыра, мать ни в коем случае не хотела допустить, чтобы его отец — секретарь аулсовета — сел в «адскую машину» с русскими. Адской машиной она называла автомобиль.

Когда выдалось время, я рассказал Николаю Семеновичу о своей встрече с Хыдыром Карлиевым.

— Хо-хо-хо! — трубно засмеялся Тихонов, как всегда делал, когда думал, что его «разыгрывают». — Я, кажется,

придумал этот эпизод в очерке. Уж очень хотелось изобразить стычку женщины с железным конем. До Советской власти вместе с цивилизацией в пустыню приходили новые способы закабаления народов и попрания их достоинства. А тут — писатели и автомобиль у юрты кочевников. —

И снова засмеялся, чтобы снять некую назидательность сказанного.

В этом эпизоде мне открылась еще одна черта характера Николая Семеновича: он был из тех сочинителей, которые охотно, даже, я бы сказал, с радостью отказывались от авторства, если выдуманное ими уходило в народ и становилось легендой. Ведь с этого он, по существу, начал, написав поэму о Ленине «Сами» (1920).

Как-то я застал у Тихоновых гостей, приехавших из Инднии. Было два переводчика — с хинди и английского. Они мешали друг другу, но беседа за столом была удивительно насыщенной и стройной. Мой сосед сверлил Николая Семеновича угольным жаром своих глаз, все пыривался что-то сказать, но стеснялся и только произносил какое-то слово, в котором можно было лишь угадать далеких родственников русских «хорошо» и «еще».

Потом, когда мы прошли в кабинет, я попросил переводчика спросить у моего соседа, читал ли тот поэму «Сами». Гость сложил на груди руки и поклонился мне, будто не Тихонов, а я был автором. Потом он сел на диван, закрыл глаза и забормотал что-то похожее на молитву.

— О чем он? — спросил я переводчика.

— Он читает на хинди «Сами».

Переводчик добавил еще, что этот вполне цивилизованный индус читает «свой» вариант поэмы, тот, который передается из уст в уста, а не прочитывается в переводе на английский и даже хинди.

Так второй раз я столкнулся с фактом того, что сочинения Тихонова уходили в долгую жизнь легенд и сказаний.

— А знаете, что я еще не выполнил своего долга перед Ильичем,— сказал мне как-то Николай Семенович незадолго до своей смерти.

Недоумение на моем лице вдохновило его на еще один, правда оставшийся не написанным, рассказ.

— Случилось так, что в последний приезд Ленина в Петроград я оказался на Шпалерной, у Таврического дворца. Все вокруг кишело людьми, и я, как человек любопытный, побежал, куда все. Это питерцы встречали Ильича, вышедшего на улицу после заседания. Толпа, нет, не толпа...

Тихонов задумался и уверенно продолжал:

— Народ провожал своего вождя на Дворцовую площадь, где должен был состояться митинг. Помните, есть такая фотография — широкая, как море, Дворцовая площадь, край трибуны и на ней — Ленин. Среди тех, кто слушал его тогда, 19 июля 1920 года, был и я. Может быть, токи, которые всю жизнь питали меня, я получил именно в тот день...

Рассказ прозвучал патетически. Это первым почувствовал сам рассказчик.

— А я ничего не смог написать про этот день.

И, помолчав, повторил:

— Должник я.

И еще раз, убежденней:

— Должник!



ПОЭТИЧЕСКИЙ АРХИПЕЛАГ

Из нашего литературного обихода в последние годы выпало определение «ленинградская поэзия». Наверное, в этом есть своя закономерность.

Ленинградская поэзия кроме само собой разумеющихся идейных установок, общих для всей советской литературы, предъявляла высокие требования к качеству стиха, особенно стиха, развивающегося в рамках русской классической поэзии, ясности мысли, точному слову, сдержанности в использовании палитры поэтических красок.

Николай Тихонов был одним из наиболее ярких поэтов этой школы.

Рядом с ним работали такие замечательные мастера, как Анна Ахматова, Николай Заболоцкий, Виссарион Саянов, Александр Прокофьев, Всеволод Рождественский и многие другие.

Каждый из них внес свой вклад в развитие советской поэзии, у каждого была своя манера письма, но при всем разнообразии стилей и почерков ленинградские поэты представляли собой хорошо сплоченный отряд, исповедовавший одну поэтическую веру.

В голове отряда шел Тихонов. Он заведовал отделом поэзии в журнале «Звезда», редакция которой помещалась на Невском, в Доме книги. Вышло так, что комната, отведенная под отдел поэзии, стала своеобразным центром, куда стекались лучшие стихи и куда спешили принести только что написанное почти все ленинградские поэты.

Тихонов ежедневно бывал в «Звезде», но за многие годы работы в редакции не позаботился о том, чтобы завести для себя рабочее место, хотя бы в виде письменного стола.

Он принимал посетителей, сидя на подоконнике. Здесь же, в присутствии автора, прочитывал стихи, принимал решение — печатать или возвращать рукопись. Нередко разговоры о стихах переносились на улицы города, на Зверинскую, в Дом писателя.

Как руководитель отдела и поэт, в личном творчестве придерживавшийся многократно проверенных принципов, Николай Семенович отличался широтой взглядов, интересом к людям, работавшим иначе, чем он сам. Это можно проиллюстрировать только на двух примерах — как поддерживал Тихонов двух поэтов, которые, казалось бы, по всем формальным моментам никак не могли приобрести права гражданства на ленинградском поэтическом архипелаге.

Речь идет об Александре Прокофьеве и Борисе Корнилове. Обоим на первых порах было нелегко. Самобытная, идущая от фольклорных родников Олонии поэзия Прокофьева вызвала открытую неприязнь у иных из друзей Тихонова. Но Николай Семенович протянул руку братства новому поэту. Поддержка очень много значила: она позволила Прокофьеву прочно стать на ноги. Именно благодаря Тихонову Прокофьев занялся серьезной разработкой песенных богатств своего родного Приладожья и внес в нашу поэзию новые ритмы и краски.

До конца жизни Прокофьева Тихонов оставался самым благодарным слушателем и стихов, и песен, и побасенок, которыми Александр Андреевич был полон до краев. Тот, кто наблюдал за ними во время дружеских бесед и застолий, оказывался свидетелем удивительных спектаклей, рождавшихся стихийно, но столь ярких, что сторонних наблюдателей не покидала мысль: не отрепетированы ли они? Несколько раз зрителем бывал и я. Первый раз это было вскоре после прорыва блокады, когда то ли Б. Ли-

харев, то ли В. Саянов привел меня в столовую Дома офицеров имени Кирова, где состояли на довольствии многие писатели, служившие в армии. Время было послеобеденное, в столовой было пусто, а на кухне уже ничего не осталось. Но это не смутило друзей, не лишило их доброго настроения. Откуда-то появились тарелка отварной картошки, две луковицы, еще что-то — и начался один из тех скудных и редких блокадных пиров, на которых главное место отводилось все-таки не еде, а слову.

Прокофьев только что возвратился из поездки на Волховский фронт. Побывал в своей родной Кобоне, ставшей перевалочным пунктом знаменитой Дороги жизни.

— Удивительное дело,— заметил Александр Андреевич. — Над моей Кобоной весь день тучами висят фашистские самолеты, а мои тетки сочиняют про наших летчиков частушки.

— Ну, давай, Саша, давай,— торопил его Тихонов.

— Да, понимаешь ли, какое дело. Частушки-то есть, но непроизносимые в офицерском обществе.

— Ну, какие могут быть церемонии. Давай!

— Попроси официантку отойти подальше,— сказал Прокофьев и тут же начал то ли петь, то ли декламировать, сперва голосом низким, почти басом, а к концу частушки переходя чуть ли не на мальчишеский фальцет.

Так он пел, переживая наш смех с добрых полчаса. И нельзя было понять, действительно ли он услышал эти частушки или выдумал их сам.

Тихонов смахивал пальцами набегавшие на глаза слезы восторга, покрывал:

— Еще, Саша, еще.

Конечно, не отдельные словечки привлекали в этих частушках, а ядреный, истинно народный юмор, неистощимая жизнерадостность и уверенность в победном исходе войны.

— Ты бы, Саша, записал бы все это на бумаге. После войны тебя фольклористы на части расхватают...

Я напомнил этот разговор Николаю Семеновичу через много лет, когда мы чествовали Прокофьева по поводу присуждения ему Ленинской премии. Я сказал, что в поэме «Россия» еще явственно чувствовалась песенная, фольклорная стихия, а в книге «Приглашение к путешествию», за которую поэт, собственно, и был отмечен наградой, она, как мне казалось, более приглушена.

Тихонов задумался, но не стал меня разубеждать. Только в конце вечера неожиданно сказал:

— Известно, что только одна восьмая часть айсберга видна на поверхности, остальные семь восьмых скрыты под водой. Поэт чем-то похож на айсберг. Саша научился писать так, что мы за каждой строчкой чувствуем капитал, приобретенный им из песенного творчества народа за всю жизнь.

Он сказал далее, что Прокофьев начинал как певец Олонии, а вышел в ряд больших русских поэтов, и не последнюю роль в этом сыграла ленинградская литературная среда.

И вспомнил о втором примере — о взлете Корнилова, который, наверное, не был бы столь стремительным, если бы не среда, дисциплинировавшая его, но не подгонявшая его под некий средний уровень.

Эти принципы, принятые в Ленинграде, встречали поддержку среди поэтов, работавших во всех уголках страны, и прежде всего в Москве. Лишнее тому доказательство — живые связи ленинградцев со всеми поэтами страны, быстрое появление молодой поросли поэтов (вспомним хотя бы объединение, которым руководил А. Гитович и из которого вышли поэты В. Шефнер, А. Лебедев, Е. Рывина, В. Лившиц, А. Чивилихин и другие).

Это случилось само собой, кажется, без видимых усилий со стороны Тихонова, но он стал запевалой в ленинградской поэзии. И не только потому, что в это время писал отменные стихи. Он еще настойчиво боролся за торжество высокой поэтической пробы.

Сейсмограф Тихонова — писателя большого общественного темперамента — действовал безотказно. Этот аппарат работал не на маленьких батарейках, а от общей сети, ибо Николай Семенович никогда не ставил перед собой задачи изучать жизнь народа, он просто жил ею. Это позволяло ему отстаивать идеи, которые выражали интересы общества, а не клана.

Мы уже знаем стихи Тихонова о войнах и революции. Романтик и мечтатель, он много писал о простых людях земли, которым ненавистны стяжательство, грабеж, обман, которые тянутся к свободе, еще не осознав хорошо, какими путями эта свобода должна быть достигнута.

Но была еще одна заповедная для Тихонова тема, в которую он уходил с восторгом, не щадя своих сил. Всю жизнь он будет певцом Ленинграда. В его гимне родному городу сольются и патетика, и чистейшая лирика, и графическая чистота линий при изображении пейзажа. Он напишет и о каменных львах, присевших на невских набережных и мечтающих о возвращении в дальние страны, о белых ночах, о разводке мостов, когда

Фонарь взошел над балок перестуком,
Он две стены с собою уволок,
И между них легко, как поплавок,
Упала пропасть, полная разлуки.

Он охотно мечтал о будущем города:

Пусть Петербург лежал грядой
Из каменных мошей,
Здесь будет вымысел другой
Переливаться в кровь вещей...

Без крепостей, без крови водопадов,
Без крепостных — на свой покров
В мохнатые зыбей ограды
Они поставят город свой —
Приморский остов Ленинграда.

Он был горд Ленинградом, но эта гордость не позволяла ему украшать свой город, как украшают к Новому году елки. Народ и история сделали на площадях и проспектах города такое великое дело, что в искусственном расцветивании оно не нуждается.

Позднее это убеждение сольется в чеканных, как формула, стихах:

Петровой волей сотворен
И светом ленинским означен —
В труды по горло погружен,
Он жил — и жить не мог иначе.

Почему приходится так настойчиво говорить об убеждении писателя? Потому, что то было время ожесточенных споров между литераторами разных школ и направлений, разного отношения к Советской власти. Среди писателей было еще немало людей, которые не поняли или не приняли революцию. Нашлись и такие, которые лишь делали вид, что приняли новый строй, и охотно брали заказы на любую тему за осьмушку хлеба. Были и люди, оказавшиеся безразличными к судьбе России. Они ждали перемен, зарывшись, как кроты, в норы своих выстуженных лютым ветром квартир. А революция, как всякое живое дело, требовала горячих сердец, жадных до работы рук, она учила не громить, а созидать.

Тихонов пришел служить революции, новой России по голосу сердца и поэтому считал необходимым отдать ей не только стихи, но весь свой темперамент. Он не хотел идти на компромиссы с теми, у которых, может быть, вчера еще брал уроки, пробуя свои силы в поэзии. Это родило его с Маяковским, хотя с ним он не был близок никогда. По-своему Тихонов выполнял ту же задачу, что и Маяковский.

М. Горький в статье «О кочке и о точке» говорил о том, что для писателя жизненно важно иметь точку зрения, с высоты которой он сможет увидеть закономерности происходящих явлений. «Подняться на эту точку можно, только освободясь от профессиональной, цеховой, бытовой паути-

ны, которой мы потихоньку оплетаем себя, может быть, не замечая этого...»

И далее:

«Тревога, которая вынуждает меня говорить так, испытывается не только мною, она знакома Николаю Тихонову, одному из талантливейших наших литераторов, автору статьи о „равнодушных“...»

Горький поддержал молодого Тихонова, когда тот входил в литературу, критиковал его, когда поэт «примерил к ногам чужие колодки». За Тихонова шла борьба. В нем видели не просто талантливого писателя, но и деятеля большого общественного темперамента.

Член Ленинградского оргкомитета по подготовке Первого съезда советских писателей А. И. Шабанов, учившийся в знаменитой ленинской школе в Лонжюмо, читал в Коммунистическом институте журналистики курс истории партии. Это был интеллигент, поднявшийся из рабочих низов, человек убежденный и непримиримый. Горячий и вместе с тем гибкий. В строгом смысле слова он читал не лекции, а беседовал со студентами, подтягивал их до своего уровня, как в свое время вели его самого старшие товарищи по партии. Он никогда не пользовался конспектами, но и студенты не могли его конспектировать, — так увлеченно и увлекательно рассказывал он нам, как росла, набирала силы партия.

Афанасий Иванович хорошо знал литературу, охотно говорил о ней, и лекции его обычно были последними в расписании учебного дня: в учебной части знали, что Шабанов задержит студентов на час, а то и на все два.

— Читайте Тихонова! — кричал Шабанов с трибуны, будто кто-нибудь ему возражал. — Читайте Тихонова. Будьте романтиками и реалистами одновременно. Нельзя? Как это нельзя, если большевики говорят: «надо»?

Он любил, чтобы ему возражали, чтобы вопросы посылали не в письменном виде, а задавали устно. И наиболее острые из нас, а то и просто любители посмеить других сыпали «вопросов рой».

— А нужно ли читать Безыменского?

— Как вы относитесь к Жарову?

— Вот вы все время говорите о партийности литературы, а ставите в пример беспартийных — Маяковского, Блока, Тихонова.

Афанасий Иванович сходил с кафедры, засучивал рукава синей сатиновой косоворотки, подпоясанной солдатским ремнем, втягивал голову в плечи и, набычась, тихо спрашивал:

— Вопросы еще будут?

Зал затаивал дыхание.

— Так вот, товарищи журналисты. Почему Тихонов, а не Безыменский, Маяковский, а не Жаров? Законы переспективы (он именно так произносил это слово) распространяются и на литературу. Авторы, имена которых вы называли, вполне заслуживают одобрения. Они — сегодняшние работники. Вы чувствуете разницу между листовкой и романом? А? Так вот. Маяковский и Тихонов — из числа романистов. Попомните мое слово.

— А за что же вы вчера, выступая в Доме печати, разделали Тихонова под орех? — кричал кто-то из зала.

— Из-за Тихонова. Такой человек прямого удара не боится. Сам ответит — будь здоров, на ногах устоять бы! Слышали, как он ведет полемику?

Он выжидал нашего ответа и, не дождавшись, возвращался на кафедру.

— Позор вам. Со следующей недели учебная часть будет рядом с расписанием вывешивать сообщения о литературных дискуссиях. Вы же литераторы — должны быть в курсе дела.

По записке Шабанова наша группа была пропущена на дискуссию, посвященную книге Тихонова «Тень друга». Но и до этого мы уже хорошо знали Николая Семеновича — полемиста.

В тот день все мы как бы заново перечитали статью Тихонова «Школа равнодушных», которую так высоко ставил Горький. Тихонов, высоко оценивая поэзию А. Про-

кофьева, В. Саянова, Н. Брауна, Н. Заболоцкого, не закрывал глаза и на имеющиеся у них недостатки. «Мои опасения касательно некоторых сторон современной поэзии вышеназванных поэтов нисколько не касаются,— писал он.

Эти поэты могут повторить стих одного из них и будут правы:

Мы — это фронт. И в трусости, пожалуй,
Нас явно невозможно упрекнуть!

Но в уступы редакций, в широкие заливы литературных встреч, вечеров бьется поражающее карликовыми размерами море молодых, средних поэтов.

Бесстрашно исследуя неглубокую волну этого игрушечного моря, легко установить, что владыкой его является смысловой стих,— забывший, что факт, взятый без изменений, есть факт, взятый без воздействия».

Тихонов резко выступил против тех, кто готов писать о Днепрострое и о Тардье, о Шанхае и о колхозе. Эти поэты оказались во власти самой тяжелой болезни — равнодушия. «...Школа равнодушных пишет в десять, в сто раз больше, чем настоящие мастера слова, благо ей все дается легко, без тени исканий, без изобретательства, без всякой мучительности, без единого содрогания их существа».

Партия воспитывала Тихонова. Тихонов воспитывал своих товарищей по перу. Конечно, не только статьями и в ходе дискуссий, но и, как говорят, личным примером. Недаром именно ему был поручен содоклад о поэзии на Первом съезде советских писателей (1934), содоклад именно о ленинградской поэзии.

С трибуны съезда Тихонов заявил, что «мировоззрение — это внутреннее солнце поэта», подчеркнув, что сейчас главное не в разговоре о поэтической интонации и составных рифмах, «а в очень серьезном моменте — добывании комнатного стиля поэзии, уничтожении замкнутых, демобилизующих литературных влияний».

И снова Тихонов выводил корабль поэзии в океан, на чистую воду, где всего более могли подстергать опасности, но откуда можно бить по врагу сразу из всех орудий.

Он не щадил, когда чувствовал в этом необходимость для общего дела поэзии, и друзей.

Жаль, что мне в свое время не пришло в голову записать один из споров Тихонова с Саяновым. В книге избранных стихов Саянова многие известные стихи его, вошедшие в хрестоматию, любимые молодежью, особенно студенческой, оказались переписанными автором.

— Как можно так кастрировать себя,— возмущался Тихонов.— Конечно, ты автор и никто авторства твоего отнимать не собирается. Но стихи из «Фартовых годов», «Современников» стали нашей классикой. Они уже живут своей жизнью, независимой от тебя.

— Но ведь корабли в иных портах очищают днища от ракушек и моллюсков. Тем увеличивают ходовые качества,— отвечал Саянов.

— Стихи, принесшие тебе всесоюзную известность, не очищены, а исковерканы. Жаргон? Ну и что в нем опасного? Он передавал аромат времени. Никто не простит тебе содеянного.

Вс. Рождественский рассказывал мне, что и ему, случилось, попадало от Тихонова за то, что иной раз Всеволод Александрович поддавался соблазнам темы и пытался писать о том, что не проходило через его сердце.

Отголосок этих бесед с другом чувствуется в статье «Трудный рост», опубликованной в журнале «Литературная учеба» в 1933 году. Тихонов писал: «Тема, как бы велика она ни была, существуя рядом с вами только предметом наблюдаемым, никогда не будет успешно изображена в стихах. Нужно жить ею, нужно чувствовать ее необходимость, ее развитие в себе. Всякое холодное собирание справок о ней и такое же холодное изложение ее в стихах обнаружит себя».

Рыцарское отношение Тихонова к литературе делало его фигуру притягательной. А. Ахматова, Е. Полонская,

Б. Пастернак, М. Бажан, П. Антокольский, Т. Табидзе, многие другие хорошие и разные поэты советовались с ним, спорили, но для того, чтобы еще лучше действовать сообща, в одной упряжке.

Очень хотелось бы в подтверждение этого привести письма Бориса Пастернака Тихонову. Неизвестно, сохранились ли те, что однажды читал мне Николай Семенович. Но одно письмо — от 31 мая 1923 года — попало нам на глаза. Оно хорошо передает атмосферу доверительности, характерную для отношений между поэтами.

Б. Пастернак писал: «Дорогой Николай!.. С конца января все время работал, кажется, не без удачи. Начал большой роман в прозе, написал первую часть, листа на 2¹/₂, на три, сдал в «Новый мир» *. Не знаю, как назвать... Да и называть рано, четвертая, вероятно, доля предположенного. В целом, м. б., назову «Революция», если к лицу будет. Но это нисколько решительно не относится к делу, о к-м ниже.

Сейчас поэтический язык, в разных пропорциях состоящий из Хлебникова, тебя и меня, становится и начинает казаться мне нейтральным, незаимствованным и обыденным. Я перестал его слышать, мне ни холодно от него, ни жарко; мне было бы от него тяжело и страшно, если бы я перестал работать. С моей постоянной тягой к опрятному одиночеству мне, конечно, жутко бы показалось оставаться доживать свои дни в таком многочисленном и наполовину отталкивающим обществе **, если бы,— как говорю, я не знал и не чувствовал, что уйду в сторону, ну хотя бы Чарской — не смеяся, как не смеюсь и я, называя эту писательницу.

В отношении людей, застрявших в формах и средствах в немолодом возрасте, можно сказать просто. Они удовлетворились преддверием искусства, его первой, лицевой

* По всей видимости, речь идет о неосуществленном замысле или намерении.

** Здесь говорится о литературных эпигонах.

половиной, и мне странно их присутствие в искусстве, как было бы странно созерцать баб с керосиновыми бидонами в молочной: зачем, спрашивается, было входить именно сюда?

Гораздо труднее с молодежью, с которой этого (по ее возрасту) нельзя и спрашивать. Дело было бы легче, когда бы не время такое крутое.

Далее Пастернак говорил о помощи молодым, которых «Мандельштам предлагал устранить от переводческого дела. Но не всегда это можно, и потом большинство молодых всегда талантливы,— до керосинно-молочной границы, Коля, все талантливо, долго талантливо, десятилетия!..

Тогда оказываю предпочтение темпераменту, непрокашленному метафорами рычанию, зверству, простоте, народности и есенинщине, сейчас преудивительно перемешавшейся со мной...»

Надо знать Пастернака, знать не по критическим статьям, а по его стихам, его творческой сути, чтобы понять, как трудно и как необходимо было для него это письмо. Ведь в нем — не отрешенность от мира, не затворничество, не пресловутое «какое, милые, у нас тысячелетье на дворе», за это поэт не раз подвергался критике.

Как поэт Пастернак развивался сложным путем, ошибался.

Он восторженно писал о Ленине, облик которого возник перед поэтом, «как шорох молнии шаровой», как рапира, направленная во врага. Его поэму «Высокая болель» печатал в своем журнале Маяковский. Пастернак воспел подвиг лейтенанта Шмидта и подвиг рядового сапера на полях Великой Отечественной войны.

Конечно, нельзя закрывать глаза и на очевидные заблуждения поэта, представлять его иным, менее сложным и противоречивым, чем был он на самом деле. Но как не согласиться с Анной Ахматовой, которая однажды сказала мне, что мы все пытаемся втиснуть Пастернака в загодя приготовленный саквояж, а он никак не желает того.

Приведенное выше письмо говорит о тревоге Пастернака за положение в нашей поэзии. То было время, когда в поэзии рядом с молодой талантливой порослью пытались работать разного рода сочинители, писавшие «под Блока», «под Маяковского» и т. д. Тревога была обоснованной. И знаменательно, что с этой тревогой он обратился не к кому-нибудь, а именно к Тихонову, будучи убежденным, что его правильно поймут.

Давно дружили Тихонов и Павел Антокольский. Их переписка может составить целую книгу. Интересно, что Павел Григорьевич, который в то время работал в театре имени Вахтангова, зная неутраченный интерес Тихонова к разным литературным жанрам, исподволь подвигал его к созданию пьесы.

4 января 1933 года Антокольский писал:

«Дорогой Николай Семенович!

Очень мне жалко, что наши разговоры остались недоговоренными, встречи — недовстреченными и что мне пришлось сорваться с места раньше, чем было задумано.

Пишу Вам затем, чтобы спросить, как поживает обещанная в хорошую минуту записная книга, — или по крайней мере благое намерение ее завести?

Хоть на полдня уверьте себя, что все это дело — не фантастика, не блажь хорошо относящихся к Вам москвичей, а нечто столь же обязательное, как вообще необходимость творчества. Если это произойдет, наше дело на треть будет сделано. Так мне хочется верить. Всем этим я хочу сказать, что жду от Вас интереса и готовности попробовать писать пьесу...»

Еще через несколько месяцев в том же году (14 ноября) Антокольский снова возвращался к своей просьбе:

«Дорогой друг, Николай Семенович!

Истинно тронут получением от Вас подарка — «Клятвы в тумане». Еще раз с радостью ее перечел, вспоминая Ваши интонации. Прекрасные, живые и выпуклые фигуры говорят и действуют так, что ждешь продолжения их жизни в одной известной Вам черновой тетради, — как

видите, я решил быть бестактным и бью все по тому же месту!

Очень хочется знать, как Вы живете и что сейчас делаете. Здесь иногда циркулируют слухи о Вашем скором приезде в Москву, Вас начинают ждать, потом слухи вянут, а Вас нет. Напишите, ждать ли Вас и когда.

Я решительно сел за «Вийона», поставив перед собой произвольный срок — 1 декабря, — когда вещь должна быть во что бы то ни стало кончена. Дело к тому и клонится, но стоит мне кое-каких терзаний и огромного количества исписанной и перемаранной бумаги. Честно сознаюсь, что никогда еще работа не давалась мне так трудно.

А вообще живется в Москве обычно... В Театре у нас — дым столбом, стук, бессонные ночи и полное изнеможение, как всегда перед премьерой. Выпускается второй опус Горького. Жена, участница всего этого, боится и волнуется за себя, приходится много работать...

Попалась ли Вам статья Тарасенкова о Заболоцком* в «Красной нови»? Хотя автор мне и приятель, но сознаюсь, статья у него беззубо-возмутительна. Как обидно, что Заболоцкий так туго доходит и так превратно и дико может быть истолкован! И при этом видимость правоты у Тарасенкова есть, он вправе и так решать неопределенные уравнения... Но тем хуже!

Крепко жму Вашу руку. Марии Константиновне горячий привет. Зоя тоже приветствует Вас обоих. Еще раз — спасибо за «Клятву в тумане».

Всегда Ваш П. Антокольский».

Тихонов так и не написал пьесы, но сделал для театра им. Вахтангова заказанные ему стихотворные интермедии к постановке «Нумансии» Лопе де Вега.

Все ширился круг его московских друзей. А дружба для него всегда была чувством действенным, располагаю-

* Речь идет о статье критика А. К. Тарасенкова, посвященной поэзии Николая Заболоцкого, которую критик недооценивал.

щим к конкретным проявлениям. Неудивительно, что на все поэтические дискуссии, проходившие в Ленинграде, с легкой руки Тихонова стали приглашать москвичей; каждый год на берегах Невы проводились встречи с поэтами из столицы.

Продолжалась и дружба с Антокольским. О ней свидетельствуют сохранившиеся письма.

«Несколько дней назад я отправил тебе письмо из редакции «Нового мира», но боюсь, что там напутали с адресом,— поэтому прежде всего подтверждаю и повторяю суть того письма: пожалуйста, освистив мое вступление в новую должность и пришли стихи для журнала. Незачем говорить, как редакция этого ждет.

Где ты? Говорят — за городом? Поздравляю с благополучным, кажется, окончанием истории с фильмом. Когда же его можно будет посмотреть?

Я пробыл около месяца в Горьком, ставил спектакль в своем любимом Колхозном театре. Это утомительное, но бодрое занятие. Сейчас — последние деньки в Москве. И она особенно хороша: шумная, ветреная, с дождями, с трескотней репродукторов и со всей своей дьявольской работоспособностью. У Зои — большое горе: недавно скончался ее отец. Она ходит сама не своя, очень измучилась. 29-го схвачу ее в охапку, и мы месяц просидим в Гаграх, — пожалуйста, если захочешь черкнуть мне, вот адрес: Гагры, д/о Союза Сов. Писателей.

Дорогой Коля, я не писал тебе лет сто и столько же времени не получал от тебя писем, а когда-то, в двадцатых годах (двадцатого, кажется, века), у нас было нечто вроде переписки.

В заключение горячо желаю тебе не стареть, смотреть веселыми, веселыми своими глазами на жизнь, писать художественные стихи и — по возможности — пьесы (НБ!).

Целую тебя и низко кланяюсь Марии Константиновне.

Твой навсегда Павел Антокольский».

«Мне уже надоело дожидаться твоего письма, и я решил снова честно надоедать тебе сам. И. Г. Лежнев * обратился к тебе с просьбой написать статью об Асееве (сейчас, в январе, исполняется 25 лет его литературной деятельности). Это предложение я очень поддерживаю. Как ты к нему относишься?

Второе: еще раз прошу тебя дать стихи для «Нового мира». Бог троицу любит, и, может быть, после третьего раза ты раскachaешься. Может быть, дашь нам все интермедии к «Нумансии»? Может быть, никакие не интермедии, а просто свои стихи?

Что-то идет разговор о поездке в Ленинград группы московских поэтов для участия в вашей дискуссии. Насколько я чувствую, это нашло здесь отклик и поддержку.

У нас зима закрутилась вовсю: с морозом, с многими видами настоящей деятельности и квази-деятельности (репетиловщины)... с неожиданными признаниями в дружбе, с гостями из Ленинграда и Киева, врезающимися в наш быт на полном скаку, не стяхнув вагонного сна.

Я очень заматался. И не всегда отдаю себе отчет в причинах. Но уже по тому одному не окончательно несчастен и не зол на судьбу, что как-то между делом, между прочим, в самые неподходящие часы ухитрюсь мараить бумагу кое-какими стишками. Это — как было в молодые годы. Ведь теперь полагается бежать в Переделкино или Малеевку для обнаружения того, что ты еще поэт, писатель и не разучился русской грамоте.

Дорогой друг, мне бы очень хотелось тебя увидеть, — не думай, что я рассчитывал на членораздельный или дельный разговор, это чистая лирика. Твой новый одномник у меня имеется. Это очень хорошая, мудро составленная книга. То, что в нее вдвинута «Тень друга», очень ее обогатило. О тебе много разговоров в Москве, и мне всегда приятно в них участвовать.

* Известный литературовед, активно сотрудничавший в «Новом мире».

Что делает и чем увлекается Мария Константиновна? Наш общий друг, Володя, сидит еще в Ялте, скоро должен вернуться, кажется. Прислал для «Нового мира» очень хорошие, но грустные стихи. Ну, ничего, он еще покажет могучее свое горло!

Коля, крепко тебя целую и прошу передать самый горячий привет Марии Константиновне. К этому, конечно, присоединяется Зоя. Отвечай, пожалуйста. Твой Павел.

Р. С. Обязательно ответь Лежневу!

«Спасибо тебе за прелестное письмо. Ты просишь рассказать о себе. Увы! Особо выдающегося у меня ничего не вытанцовывается. Москва — жуткий, трепаный и дергающий во все стороны город; никак не могу из него вырваться хоть на десять дней, чтобы собрать мысли. Твое предложение приехать в Петергоф (или в Пушкин?) для меня, конечно, соблазнительно. Но пока не могу им воспользоваться. Пишу еле-еле. Главным образом — начинаю что-нибудь, и закладываю черновичок на «после Мая» или «после Октября». Написал оду под названием «Памяти Франции» и хочу написать балладу «О том, как Чемберлен хоронил Шекспира». Это будут неплохие стихи. Их недостаток в том, что они сами собой разумеются.

Вчера хоронили Макаренко. В Союзе был трогательный митинг. Выступали его ученики, которых по Союзу насчитывается больше 300 человек. Они говорили о нем, как об отце. Сорокалетние командиры, инженеры, врачи, бойцы (в том числе хасановцы-орденоносцы)... некоторые ревели.

Пришли мне, пожалуйста, стихи для «Нового мира». Неужели у тебя ничего нет для старого твоего друга и поклонника?! Почему, наконец, ты думаешь, что будущая твоя поэма о Серго должна печататься где-нибудь, кроме «Нового мира»? Ведь «Звезда» — дело домашнее, нехитрое. перед нею ты и без того никогда не будешь в долгу.

Ну, дорогой, обнимаю тебя — до веселой встречи в Киеве. Надеюсь, что наши традиции не подведут и на этот раз, и мы хорошо погуляем у берега Днепра, где лежат

благородные кости Олегова коня. Горячий привет Марии Константиновне. Зоя к этому присоединяется всей душой. Твой навсегда. Павел».

Переписка Тихонова с товарищами может служить ярким подтверждением той мысли, что в предвоенные годы Ленинград, его лучшие писатели излучали свет на всю страну. Издавна бывший центром культуры России, в советское время город значительно усилил свое влияние на развитие литературы, музыки, изобразительного и театрального искусства. Достаточно вспомнить такие имена, как Тихонов и Ахматова, Шостакович и Уланова, Акимов и художник Авилов. Картины, выпущенные на «Ленфильме», начали свое триумфальное шествие по экранам не только страны, но и всего мира.

Но есть еще одна сторона культурной жизни Ленинграда, которая имела особое значение и к которой самое непосредственное отношение имел Николай Семенович Тихонов. Речь идет о том, что он одним из первых начал приобщать русского читателя к богатствам, накопленным писателями союзных республик. Он занялся переводами грузинских поэтов. После каждой поездки на Кавказ он возвращался со стихами Александра Абашели, Иосифа Гришашвили, Георгия Леонидзе, Григола и Ираклия Абашидзе, Тициана и Галактиона Табидзе, Сандро Шаншишвили и многих других. Одновременно он переводил армянских поэтов. Его личными друзьями стали поэты малых народов Кавказа, с произведениями которых Тихонов тоже познакомил русских читателей.

Но важно подчеркнуть и вторую сторону в этой деятельности Тихонова. Он положил начало активным связям ленинградских писателей с писателями братских республик. А. Прокофьев, Н. Браун, В. Рождественский, М. Комиссарова и многие другие подхватили почин Тихонова. Они взялись за переводы украинских и белорусских поэтов. Берега Невы стали пристанью, от которой пошли к русскому читателю книги почти всех поэтов советских республик.

У Николая Семеновича Тихонова было много друзей. И не только у нас в стране — во всем мире. Бывало, дом на Зверинской превращался в Ноев ковчег — так густо в нем было от гостей, приехавших отовсюду.

Почтальоны носили ему письма мешками.

Чего только нет в этих письмах — читательских благодарностей и просьб посоветовать, как писать, рукописей и вопросов отнюдь не только на литературные темы.

Надо сказать, что Николай Семенович любил получать письма и ни одно письмо не оставлял без ответа.

Его эпистолярный архив подобен Джомолунгме, венчающей Гималаи. К нему ученые только прикоснулись, как к овечьей легендами вершине мира, но не обследовали ее. Каждая «экспедиция» будет обогащать читателя любопытными фактами, и углублять представление о Тихонове как человеке и писателе, и расширять наше представление о возможностях эпистолярного жанра, в наше время, увы, приходящего в упадок. Мы мало и редко пишем друг другу, а если и пишем, то чаще всего поздравления. На письма-диспуты, письма-раздумья, письма, которые сами по себе уже представляли бы явления литературы, у нас, как правило, не хватает времени.

Сколько времени потребуется на разбор архива Тихонова — никто не знает. С разрешения Варвары Николаевны Тихоновой я попытался извлечь из сонма писем только маленький «кусочек», отражающий дружбу Николая Семеновича с Петром Андреевичем Павленко. Они познакомились и братски протянули друг другу руки еще в двадцатые годы. Петр Андреевич только что возвратился из Турции, где был секретарем советского торгпредства. В «Заре Востока» появились его первые очерки.

— И тут мне пришлось взять на себя роль толкача, — любил вспоминать Николай Семенович. — Нет, я не ходил

по редакциям и не пробивал то, что писал Павленко. Я толкал его самого в спину, чтобы он уверенней подымался в гору, чтобы работал, а не сомневался.

Пройдет немного времени — и Петр Андреевич найдет в себе силы подать руку помощи толкачу.

Павленко часто бывал у Тихоновых в Ленинграде, но еще чаще писал, а в перерывах между письмами они вместе бродили в горах Кавказа или по Туркмении, милой сердцу обоих.

Письма, которые целиком или в отрывках мне хочется процитировать, относятся к первоначальному периоду дружбы двух выдающихся советских писателей. Они датируются 1929—1935 годами и, может быть, помогут читателю полнее представить образ Тихонова.

Вот одно из первых писем, посланных из Ленинграда в Москву Тихоновым (1929).

«Великодушный шейх Петроэль Азия, я не написал Вам сразу, потому что хотел прочесть, выбрав свободную минуту, Вашу Азиатскую книгу* — раз! — и написать Вам подробнее, не торопясь, что я о ней думаю, — два. Завален делами я был необыкновенно. И «Звезда», и «Федерация», и Союз поэтов, и Дом печати, и Кинофабрика, и..., и..., и прочее. Понемногу размотав этот клубок, я освободил место для разговора с Вами.

Книгу я прочел и вовсе не нахожу, что она «очень слаба, чересчур слаба», — это неверно. Книга говорит о вещах умных — языком убедительным, — а уж это одно не каждый день встретишь в современной литературе. «Два короля» мне понравились больше других рассказов, и мне даже казалось, что это Ваш единственный в книге разговор по душе, потому что очень любопытный рассказ «Orientalia» *сделан*, и *сделан* хорошо, но это соперничество с «Западом» Бенуа и пр. В «Гали-Болу» вставлен турок, «байроновский» подвиг утвердивший в быте, и это уже мне по душе. «Лорд Байрон» сам (первый рассказ) — мог быть,

* Сборник «Азиатские рассказы» 1929 года.

несмотря на свою величину, поставлен таким монументальным эпиграфом ко всей книге. Я думаю, что Ваш язык, каким Вы изображаете Восток сегодня, Ваши очень точные отношения с историческим материалом и Ваше желание опираться на точность всюду, где это возможно, мне сильно нравится. Нельзя забывать того, конечно, что иногда это изображение, особенно старых картин турецкой жизни, отдает запахом экскурсий, а не живого движения. Таков рассказ «Изображение вещей», где общеизвестный факт с отрубанием головы, поставленный во главу рассказа, снижает тему до воспоминания, до цитаты. Иногда материал исторического очерка довлеет над эстетикой сюжета, и тогда мы имеем перечисление предметов «журнального» ряда господствующим над рядом предметов, Вами изображенных. При этом французы Ближнего Востока, конечно, сильно влияли на Ваши движения, а у них не все хорошо. Редко кому из них удавалось, на мой русский вкус, удовлетворять меня своим Левантом, Сирией или Аравией, я не говорю о переводах последнего времени, где в одном романе два араба разговаривали так: «Ты не валяй дурака», — говорил один, а другой отвечал: «И ты не бузи, через пару недель все образуется...» Я сам ни в коей мере не могу быть судьей в материале этнографическом и историко-бытовом, что ли, — поэтому я не буду касаться этих сторон. Подкреплю разными замечаниями еще свое суждение о книге. Язык книги временами горит чудесными огоньками — фраза становится афоризмом, ощущаемой на ощупь. «Седая, небритая щетина походила на иней, облепивший апельсин» — замечательно.

Наряду с этим на стр. 8: «Было очень медленно и скучно». «Медленно», право, ни к чему. Простите меня, но у меня «испорченный» поэтическим подходом взгляд на слово.

«Белые пальмы минаретов далеко развевают медлительный плач (муэдзинов)». Здесь оценка образов в слове «развевают», но минарет похож на что-нибудь вроде копья, обелиска, но никак не широколиственная пальма — неубедительно...

На стр. 29 в примечании сказано, что Мекка и Дамаск находятся в Аравии. Дамаск (?) в Аравии (?) — ну, это уже моя придирка.

«Жены первых халифов *пахнули* (пахли!) луком и мускусом» (стр. 30). «*Пахнуло* нехорошо, неприятно» (стр. 35). Почему такое ударение на неверном глаголе?

Зато цитата Фузули из Багдада о туманах — пример умной фразы в Вашей интересной книге. Так же как пользование метафорой, кстати, чрезвычайно удачный прием: «слух сухой, как клок верблюжьей шерсти» — превращает наши уши в глаза, как нечто естественное и убедительное до откazu. Я любитель таких строк...

Есть у Вас любопытные переходы, изменяющие стиль прозаический поэтическим строением строки. «Левая губа галлиполийского входа гребенчата», это уже Жироду — в прозе и современный поэт — в стихе. Видно, что Вы очень внимательно относились к языковой стороне книги, и это, конечно, первое и главное доказательство серьезности Ваших намерений в литературном деле.

Суммируя впечатления от книги, скажу, что вторично такой книги на материале сирийско-турецкого Востока писать не стоит. Кроме того, что неизбежны будут повторения, Вы можете дать еще несколько свежих штрихов, не больше. Я думаю, что у Вас нет запаса материалов о Востоке, который стоило бы, скажем, укладывать в 3—4 книги. Переходите к русской, советской действительности. Это очень трудно, я сам на себе испытал это, но зато если Ваши изобретательность, изобразительность и конкретность войдут в быт советского рассказа — они встанут там совсем по-новому.

Прочтите мою книгу о русском Востоке, книгу очень неровную и местами паршивую. «Рискованный человек» вышел в Гизе. Вы можете ее купить в Москве или, когда я разбогатею, я Вам непременно пришлю. Он, подлец, стоит дорого — 2.50, кажется. Сейчас у меня нет ни одного экземпляра при себе.

Я всячески приветствую Ваше решение посвятить себя

литературе. Это горький хлеб, но зато какое удовольствие для ума и какое воспитание души! Мне кажется, что первый, «черный» период своей работы — почти литературного подполья — Вы прошли и Ваши дела будут все более благополучными. Значит, стоило бороться...

Я очень рад, что человек, которого я встретил в Тифлисе как приятную, что ли, неожиданность и превосходного собеседника, обернулся по прошествии лет в близкого по работе товарища и друга, что я могу ощущать его теперь еще втрое сильнее, что я могу рассказывать ему себя со стороны, которая не интересует обычных знакомых.

Потом мне кажется почему-то, что где-то в Вас лежит запас хорошей иронии, этого полезного динамита, ограничивающего самонадеянность, как озеро ЗАГЭСа ограничило древнее чванство Мцхета... Только одно: берегите себя от болезни. В нашей действительности, болея, человек прежде всего наживает «пессимистическую» лихорадку. Это ужасное явление.

Вы пишете, что едете на Урал, — очень хорошо. Меньше старайтесь заниматься очерками. Хватайте живой материал и дробите его на мельнице воображения.

Мои советы никак, я чувствую, не убедительны, да и какой я советчик. Я сам черт знает что делаю... На кой дьявол я потерял полгода, занимаясь работой в кино, мне ничего не говорящей и приносящей один убыток...

Я не избалован ни критиками, ни издателями. «У звездной знати не в чести...» — тоже. Таким образом, я стал по типу хлебниковского эпоса: тем, кого не беспокоят...

Тем более лежит мое сердце к таким людям, как Вы, уважаемый шейх в русской литературе.

Мои дни складываются в ближайшее время так: в начале июня я еду в Закавказье, буду по дороге в Сванетии, буду на Токче, поброжу, взлезу на Ах-Даг и Куш-Даг (потухшие вулканы)... Не повезло мне. Кино оторвало меня от работы, и ни черта я не успел сделать — голова полна планов, но все придется всерьез выполнять только с осени.

Был бы очень рад, если бы Вы написали мне о себе до моего отъезда. Числа 15 июля я уже наверняка не буду в Ленинграде. Постараюсь странствовать до сентября...

То, что Вы держите меня в «красном», так сказать, «уголке» Вашей памяти, наполняет меня незаслуженной гордостью. Вы человек вполне живой, и я уверен, что мы с Вами еще кое-что сделаем, а увидимся, если даже не повезет летом, так осенью обязательно. В Ленинграде сейчас кончается сезон. Догорают, чадая, зимние пожарища литературы, в этом году не давая никаких эффектов, кроме нестерпимого чада примитивного бытовизма, будто открыли все форточки во двор 80-х гг., и так и смотришь, что вылезет очередной Боборыкин или Потапенко и начнет разлетаться в журналах объемом листов 20 печатных. Ну, всего Вам хорошего. Крепко жму руку. Ваш с потрохами,

Н. Тихонов

Еще раз — «Азиатские рассказы» — хорошая книжница — бодритесь, молодой человек!»

Вскоре Павленко и Тихонов, как мы помним, совершили поездку в Туркмению. Там дружба окрепла. Это можно увидеть по другим, более поздним письмам.

«Петр Андреевич, милый!

Я очень рад, что мой трехбунчукный паша наконец вкусил заслуженный покой. Что повести о Севере ты не пришлешь — я ожидал с дрожью в сердце. Хотя о ней в анонсе «Звезды» на 1932 г. не мог не упомянуть. Мне почему-то она понравилась. Тщетно ждал я и отрывка из Баррикады. Уж тут-то причин задержки не могло быть...

Я хочу в январе кончить последний свой военный труд «Клинки и тачанки» и поехать к тебе в Москву, на московский твой диван и на твои разносолы литературного союзного стола. Раздемобилизуюсь наконец, а то весь 31-й год прошел под знаком войны. Да Война* моя вышла —

* Повесть Н. Тихонова «Война» вышла в свет в 1931 году.

я ее посылаю тебе вместе с этим письмом. Теперь только видно, что я зарубил дерево не по себе. Поскреб, поскреб его немного — и отошел. Тут, конечно, ничего не поделаешь. Не зная воочью Запада — ни черта не напишешь о нем настоящего, — будут схемы, схемы и только. А потом нельзя вкатывать 18 лет жизни — и какой! — в 7 печатных листов. Наказание последовало тут же.

Гольцев* пишет статью о тебе — любопытно. У нас особых новостей нет. Да их тебе не стоит рассказывать — расскажет Слонимский, который едет в Москву с отчетом Издательства писателей.

...Мне очень хочется, чтобы ты был счастлив и чтобы тебе везло в литературе по-настоящему. И тебе будет хорошо, потому что ты настоящий писатель. Как ты ни брыкайся, Пустыня написана четко. И потому я тебе завидую. У тебя получились женщины. Последнее время они ни у кого не получают. Разучились, черт побери, их изображать. Тут у нас была даже смычка женского актива Обкома с писателями, так женщины-директора и женщины-бюрократы разные в юбках и женщины — гражданской войны участницы — в один голос упрекали, почему в литературе их нет. Да их и действительно нет в литературе...

Высылаю тебе с этим письмом Уличный бой и Войну для Гольцева. Пусть почитает — он прислал письмо, просит книгу.

У нас в Союзе писателей тоже ни хрена не разберешь. Критиков мы вытащили на дискуссию. Они упираются, точно их по углям тащут раскаленным.

Весной, я тебе кажется писал, — я кончу книгу рассказов и книгу стихов и 1-го июля собираюсь в Таджикистан, а оттуда в Туркмению в 3-й и, наверное, последний раз.

Так и буду шляться все восточнее и восточнее. Ну, конечно, если подвернется роман о фашизме — тогда поеду

* В. В. Гольцев — литературный критик, автор статей о Н. Тихонове, П. Павленко и других, грешивший вульгарно-социологическими оценками.

в Европу — хо-хо! Подсматривать и фиксировать разложение... И еще — дрянь — погода, и еще — дрянь — женщины, за малым исключением, и еще — дрянь — писатели (читал для Звезды сто рукописей — ни одной настоящей), и еще дрянь всякая без названия. Ну, ладно, к черту. Целую тебя и приветствую. — Цвети! Твой

Н. Тихонов.

Мария Константиновна и вся Зверинская шлет нежнейший привет».

«Милый друг Петр Андреевич,
Итак, Дагестан! Великолепно.

Прошу тебя срочно, как говорится, для приведения дел в порядок, отпиши мне:

1) Когда мне приехать в Москву. Если я приеду 30-го июня, будет ли это поздно?

2) Билет забронируй обязательно. Ты — могучий и чудный человек, Петр Андреевич Закавказский!!!

3) Ты пишешь, что договорился с нефтяником каким-то, до которого я звоню и не могу пока дозвониться. Сообщи, если мы разъединимся в Дагестане и ты будешь искать нефть, а мы? Я и Володя (Луговской. — Д. Х.), мы будем избирать маршрут, какой хотим, или у нас уже будут задания? Спрашиваю это потому, что если заданий нет — то я приготовлю себе сам заранее, а если есть, то какие?

4) Сообщи, составлен ли у тебя маршрут и куда он выходит: в Тифлис или нет. Мне важно.

5) Поищи у себя в Москве карт Дагестана. У меня сперли 5-верстку и есть плохие только.

6) Надо ли брать на дорогу и в Дагестан какие-либо продукты? Я подразумеваю основное: сахар, чай, печенье... то, что и беру, когда иду в горы.

Дагестан у нас получится, правда?

Я, как Володя, ржу от удовольствия. Сейчас пишу самым бешеным образом рассказ для Горьковского альманаха. После большого перерыва выходит с трудностью необыкновенной.

Думаю до отъезда, отказавшись от всех летних удовольствий, написать еще 2 рассказа, но это уже будет чудо на Неве, не иначе, потому что заедают дела общественные как никогда.

Я прямо жажду Дагестана, хотя там и написано: «с свинцом в груди», но мы одно «с» уберем к чертовой матери, а другое соединим, да не так, а по закону предлога, ну, а там дальше предлоги найдутся...

То, что тебе не понравился роман М. Сл., совершенно естественно. И мне он, наверное, не понравится, потому что эта вялая литература нам с тобой ни к чему. У нас кровь другая. Выдумка твоя о Книге заседаний — хороша. Ты выдумщик завзятый. Насчет восстаний, поддержу чем могу — будем восставать вместе.

Итак, я в боевой готовности. Жду твоего письма — в ответ на сие — и письма срочного — сам понимаешь.

Привет Ирине, владельнице Гунибской.

Зверинская посылает саям и т. п. Маруся завидует — но я ее возьму в горы на будущий год, когда пойду через Цаннер.

Дал слово пройти все перевалы в Великой стене — осталось 2. Привет. Жду известий. Привет Володе.

Твой кунак ГН».

«Дорогой старик,

Ты действительно по доброй воле напечатался в «Правде», а меня — без меня — перепечатали на лету из «Литературного Ленинграда».

Они потребовали — ребята из газеты, — чтобы я представил во что бы то ни стало — отчет самый краткий о бригадной поездке нашей, я и развел сантименты...

Теперь, старый садист, — не мучь меня фразой: о времени отъезда сообщу. Я сажусь есть, вспоминаю: а вдруг — завтра ехать — и нож упадет из моих рук, я не могу спать — а вдруг завтра... Я наконец не могу работать — только разложу свои материалишки — мысль, а вдруг зав-

тра. Что ты со мной, нечистый дух, сделал? Умоляю, напиши что-нибудь вроде: едем 1-го, 5, 10 или около 20, 30, 1 и т. д. Все будет яснее.

Деньги, если доставать будешь, на меня — не сильно бери, или... себе сильней, а мне — поменьше, а то долги меня так замучат, что придется с Кавказа до весны не возвращаться.

Агранов — молодец — будешь и ты, Петенька, в Сванетии, мы тебя с Аграновым перетащим в нашу горную веру. Жажду встречи и разговора, тем более что я — грешный человек — именно собирался идти в будущем году в горы Великого Хребта, через Цаннер. Книжку ему и тебе обязательно вышлю, как только она выйдет, а выйдет она около 25-го.

Шмерлинга книга в Изд-ве существует, но еще не напечатана. Жуковский не только не болен и не умер, а пишет книгу для Детгиздата под заглавием: Охотники за растениями, и она же книжечка с твоим соавторством включена в план Изд-ва на 1934 год. Вот это достижение — есть выход такой: пусть он выделит из книги часть для детей и Маршака и часть для тебя и Изд-ва. Маршак хвастается, что книга будет первоклассная и может иметь такой же мировой успех, как и книга Ильина «Великий план».

«Ну, старик,

дай тебя обнять хоть письмом, хотя я думаю сам прикатить в апреле в Москву и приветствовать тебя в твоём вигваме.

Горы, говоришь, в печенки тебе влезли все-таки. Правильно — как же иначе. Даром, что ли, я тебя натаскивал на них. Ты, чего доброго, теперь еще заделаешься альпинистом.

Материалу, поди, навез первоклассного. Очень рад за тебя. Я тебе обнаружил такой портретик Шамиля, что пальцы оближешь. У одного археолога он находится.

Шамиля мы вместо Гарибальди тиснем в Звезде, не правда ли? Можем аванс дать, между прочим. У нас год

будет самый читательский. Сам увидишь, Гарибальди в конце года, а Шамиль на осень.

Ты же работаешь, как тигр, с размаху, а эта тема твоя — я тебе завидую, что ты ранней весной был в горах. Обалденье — горы в эту пору...

Я нашел на обложке «30 дней», что ты ответственный редактор. Старик, я послал тебе перед самым твоим отъездом 2 рассказа, Аронсона, «Тянь-шаньские записки» и Вайсенберга «Рассказ о воде».

Об них не было за все твое отсутствие никакой вести. Авторы меня загрызли, будь милостив — разруби этот узел молчания.

Потом затеяли туркмены какую-то бригаду в этом году, у меня молодые писатели (несколько штук) собрались ехать, а теперь из Москвы сообщают что-то непонятное.

Будь другом — узнай в Постпредстве* у Горчакова, будет бригада или нет, поедут ленинградцы или не поедут. Люди изводятся. Жаждают ехать.

Я написал какой-то идиотский сценарий, ничего не получилось. Крови испортил бочку. Очень хочу видеть тебя и Ирочку. Соскучился по вас — обязательно приеду. Я написал Ирочке письмо, она тебе его, наверное, показала, где звал ее и тебя в Ленинград, но тебе уже, наверное, надоело шляться и ты будешь сидеть на месте.

Сиди, дорогой, береги здоровье. О тебе в № 2 Звезды идет статья Нади Рыковой — ничего статья — терпимая вполне.

У нас в Ленинграде ночные трамваи, грязная весна, коты орут, в Издательстве писателей — новый заведующий... Приеду — расскажу.

Паспортизация — самое модное слово.

Прочел постановление о Съезде нашем. О драматургии 4 человека говорят, а где проза и стихи?..

* Постпредство — представительство Советской Туркмении в Москве.

Зверинская существует как прежде, Марусе чуть нездоровится, кот толстеет, спит в чемодане, к чему бы это?

Ужасно хочется стихов. Как окончу только книгу рассказов (осталось еще 3 рассказа), так и примусь за мой основательный и безумный опус*.

Итак, мы скоро увидимся и поговорим о бурных днях Кавказа и тому подобное.

Обнимаю восторженно. Н. Тихонов.

Большущий привет Ирочке».

«Старик, не задавайся.

Если бы чалму Шамиля, да бороду Гарибальди, да прозу Марлинского, да твой характер соединить — вот бы произведение вышло, чреватое последствиями и для Азии и для Европы. Хорошо тебе там, в глуши снегов, под Москвой...

А я погребен под грудой чужих рукописей, чужих дел, заседаний, черт те што. Встречал на днях Федина. Он приехал сильно поздоровев. Во всяком случае толще любого из нас — и энергии хоть отбавляй. Скоро начинаем печатать его роман: Похищение Европы. Твой роман, надеюсь, будет в Звезде — тоже? Ты только прибедняешься всегда, что ничего не выходит, мура, мол, и прочее, а пройдет время — хлоп, новый роман — да еще какой, скажем о Шамиле, по новым материалам.

Издала тебя Федерация, как Сытин издавал Сенкевича, к Рождеству — детям в подарок. И художник твой тоже, знаешь, паца порядочная. Нарисовал на переплете невесть что. Мы гадали, гадали, один нашел, что это поп верхом на женщине с бутылкой и знаменем, другой — что это Кузьма Крючков танцует над трупами врагов, третий — что это Абрам Эфрос** зверски расправляется с автором, загримировавшийся, — вообще бросили это занятие. Роман, ей-богу, стоит, чтобы его получше издали. Ты сам,

* Речь идет о неосуществленной поэме «Зверинская, 2».

** А. М. Эфрос — критик и переводчик.

собака, виноват, не мог последить — нет, допустил, чтобы его испакостили. Я начал в третий раз перечитывать его (первый раз — я слышал у тебя, второй — по журналу), но по книге всегда интереснее выходит. Только третий прочел — стащили читать у меня, — но и то, что прочел, уверило меня окончательно: все в порядке — хороший роман, спи спокойно...

О тебе будет статейка в Звезде. Писала Надя Рыкова — умная такая девушка одна. Сам я пишу сейчас сразу четыре рассказа. Ужасно хочется кончить книгу рассказов — вторую. Сiju — как морской черт в бутылке и пишу, мешают люди — как их много на земле, Петр Андреевич, даже мировая война, даже революция их не убавила... Вот люди ж ты, какое горе. Мешают ужаси как — все-таки думаю кончить эти проклятые рассказышки и перейти к могучей давней теме: Зверинская, 2. Это почище твоего Шамиля.

Кроме этого всего на лыжах не хожу — ибо ходить негде. Снегу у нас нет, травка зеленеет, солнышко (сволочь) не блестит, зимы нет, на Неве вода, как не полагается, — и ничего не поделаешь. Белые медведи в Зоопарке ревут с досады... А я хочу с тобой в Монголию. Да. Да. Предпринимай там всякое разное, что нужно по этому делу. Поедем — и все.

Сам приезжай к нам в Ленинград — ко мне, и будем веселиться. Если не приедешь до 1-го, то в январе я возьму да и приеду к тебе, свалюсь на голову, и ничего не поделаешь. А до 1-го прикати к нам, ну что тебе сидеть в глуши.

Приезжай, старик. Пойдем к Корнею Чуковскому — возьмем посмотрим его «Чукоккалу». Там замечательные вещи, одним словом, ждем.

Предложение Катаняна передам в ИП* — и поддержу. Индия да еще Ост-Индская комп. — это мой конек когда-то. Обязательно поддержу. Я москвичей твоих люблю.

* ИП — издательство писателей.

Всеволоду Лебедеву я устроил 2 книги в ИП — устроим и Катаняна — только, чтобы он не подвел — ну, тут уже ты последишь.

Клаузевица II том получил, спасибо. Я совсем сейчас потерял голос — простудился, — и знаешь почему — мое старое пальто, в коем я переживал все времена года, наконец сдохло — прорвалось и, словом, окочурилось. Тогда Маруся сразу, не дав мне опомниться, — приобрела мне какую-то тяжелую собачью куртку — а на улице у нас +5. А я таскаю эти собачьи вериги и простужаюсь, простужаюсь — и сохну с каждым днем и, если ты не приедешь, — меня тоска заест, и я сам окочуруюсь к весне.

Что ты такое открыл... в «30 днях» — мне пока не понятно. <...>

Там такой мой портрет, что я смело могу стоять рядом и никто не узнает. Я предлагаю план встречи — ты приезжаешь к нам в Ленинград, и мы выезжаем, разгромив Ленинград, в Токсово или в Детское и там отводим душу в тишине. Согласен?

Ире от меня поклонись в ножки, и поцелуй, и скажи ей, что я нежно ее обожаю (скажи пожалуйста, рассантиментальничался, старый дурак, — ты этого ей не говори — о дураке, понимаешь, Шамиль!).

Послушай, Дервиш, ты должен написать роман, где бы было не меньше 3-х женщин. Они у тебя выйдут, старина. У тебя очень неплохие женщины. И знаешь как, чтобы одна — восточная, одна — с Запада, американка, что ли, одна — русская. Вот тебе задание — зашиби классиков.

Обнимаю твой могучий торс — и жду тебя в Ленинград, с Ирой, в этом году еще — понимаешь.

Привет Фадееву...»

«Петя, друг мой, здравствуй!

Уже второй месяц не знаю, где ты, что ты. Кончил ли свой знаменитый роман? Благополучен ли? Как дела среди мертвецов? Как Ирочка?

Колу я тебе привез — препарат не очень понятный, но здорово действующий. Если ты наешься этой самой колы, будешь прыгать день и ночь, как козел.

Путешествовал я занятно. Не думал, не гадал попасть в эту самую Европу и прокатил Польшу, Чехословакию, Австрию, Швейцарию, был хорошо во Франции, в Бельгии... в Англии,— проехал Кильский канал.

Впечатления напластовались плотно, материала для чего-нибудь серьезного нет.

Буду писать стишки. Буду выгребать против течения. Кое-что меня зацепило. Мы на Конгрессе этом сумели и в Париж перетащить Москву. Парились, как демоны глухонемые (что глухонемые — это верно — никто не знал языков), — в зале проводили по 12 часов. Воротнички превращались в грязные тряпицы, пот стекал ручьями. Говорили, говорили, говорили.

Были «исторические» мгновения. Черт бы побрал такие вещи... Мне пришлось перед лицом Парижа бороться с некой-то троцкисткой. Это тоже, я тебе скажу, удовольствие.

Борис прибыл в Париж как осатанелый дервиш. Речь его на Конгрессе состояла из 4 строк и бесконечного молчания. Произвел он потрясающее впечатление. Все его страшно зауважали за это молчание, размноженное и усиленное микрофоном.

Как я завидовал тебе, что ты знаешь французский. Что делать? Я обнагел и поехал в Лондон один. И что же? Я пробавлялся своим английским, так что мне его хватало на дорогу, на питье, на кушанье.

От сложных разных переживаний я снова задымил.

Страшно хочется тебя повидать, но абсолютно не знаю, где ты. Теперь французы валяются мне на голову в Ленинград, а я устал, как собака. Перо не пишет, только скрипит, я сижу за Ленинградом, к югу в 90 километрах, среди лесов и дождя — и философствую.

Черкни мне хоть одну строку о себе и твоей судьбе. Париж — это все-таки здорово. Очень будет жаль, если его снова начнут молотить немцы. Лондон что-то вроде иско-

паемого чудовища — 9 миллионов в одном месте — это страшно и не так уютно. Не хотел бы быть безработным в Лондоне.

Привез разных книжонок. Твой совет об «Архиве русской (контр)революции» хотел выполнить, но не хватило денег. Все выпуски стоят 44 доллара.

Прилагаю их полное содержание. Материал замечательный, но денег не хватило. Я купил Ундервуд 1935 г. в Лондоне — и отказался от Архива. Сейчас постараюсь никуда не ездить, продержаться до осени под Ленинградом и работать.

За Европейскими стихами буду трудиться над Дагестаном. Юсуф обещает прислать свою «Жизнь». И на том спасибо. Был ли ты на Дагестанских торжествах?

Поцелуй Ирочку... Очень хочу увидиться. Если ты в Москве, напиши обязательно. Из-за границы писать было вовсе некогда. Нас прямо загоняли. Ты уже многое знаешь от Всеволода, если ты его видел.

Обнимаю и душу в объятиях.

Приезжай и пиши. Н. Т.»

Может быть, я выбрал не самые лучшие письма Тихонова Петру Павленко. Но убежден, что человеку, заинтересованному литературой, эти письма дадут что-то новое.

В июне 1935 года в Париже собрался международный Конгресс писателей в защиту культуры. Это был форум деятелей, наиболее остро чувствующих, чем грозит фашизм, представляющих не только работников пера, но и миллионы своих читателей.

Не в первый раз была предпринята такая международная акция. Несколько десятилетий назад, в пору угрозы, нависшей над миром, и тоже прежде всего со стороны Германии, в Париже состоялся подобный конгресс (1878). Председательствовал на нем Виктор Гюго, а от России выступал И. С. Тургенев. Он говорил о том, что русская литература вышла на мировую арену и писатели мира принимают посланцев России «как своих товарищей».

В 1935 году взоры всех сторонников мира и прогресса были обращены к Советскому Союзу, единственной стране в мире, политика которой выражала интересы не каких-то отдельных классов или слоев общества, а всех людей.

Советский Союз послал в Париж представительную делегацию. В состав ее входили Вс. Иванов, А. Караваева, М. Кольцов, А. Толстой, А. Корнейчук, П. Тычина и другие. Ленинградцев в делегации представлял Николай Тихонов.

Он выступил на конгрессе с блистательной речью, исполненной гордости за свое Отечество и уверенности, что фашизм можно обуздать. Это была речь поэта и солдата, хорошо знающего, что такое война. Тихонов говорил о неистощимой вере советских людей в торжество социализма и в подтверждение этого вспомнил, как уходил в пучины черного арктического моря пароход «Челюскин», а люди, высадившись на льдину, ясно представляя нависшую над всеми беду, сочиняли шуточную поэму о своем житье-бытье. Он говорил, что взмывший на невиданную досель высоту советский стратостат вдохновил тысячи людей, которые хватаются за перья и, гордясь победителями неба, сочиняют стихи. Он объяснил, почему в таежных лесах Сибири комсомольцы, строя город, прибывают в начале лесной просеки к вековому дереву дощечку с надписью «Улица энтузиастов». Великий вихрь созидания нового общества идет по Советской стране. Воздвигаются не только корпуса фабрик и гидроэлектростанций — строится колыбель новой лирики. «Советская поэзия прежде всего принесла в мир новую силу, новые голоса, новые жанры, новые слова», и показала это на примере Маяковского, Багрицкого, Бедного.

«Голос нашей поэзии, — отметил он, — это голос могучих советских колонн, это голос мирового пролетариата и друзей его, это голос людей, привыкших держать молот потяжелее молота новоявленного фашистского Тора и прекрасно владеющих им.

Не сможет лагерная муза Третьей империи бороться с прибоем нашей советской поэзии. Она будет смыта в этой исторической буре, которую так старательно вызывает сама, потея от возбуждения».

Заключительные слова его речи: «Больше мужества, смелости и революции в искусстве!» — утонули в громе оваций.

Советская делегация пользовалась всеобщим вниманием в Париже. Представители ее (А. Толстой, М. Кольцов и др.) выступали не только с трибуны конгресса, но и встречались с французскими рабочими, выступали в учебных заведениях, библиотеках. Их осаждали корреспонденты газет всех направлений.

В узком кругу друзей Николай Семенович любил рассказывать об одном интервью, данном Ильей Эренбургом журналистам. Отвечая на вопрос о том, кто в России наиболее крупный поэт, Илья Григорьевич назвал Пастернака. Тихонов хорошо знал и любил поэзию Пастернака, поддерживал с Борисом Леонидовичем добрые отношения. Особенно близко свела их общая любовь к Грузии и работа над переводами грузинских поэтов.

Но это были люди разных темпераментов. Пастернаку не хватало и десятой доли той открытости, готовности к общению, которые отличали Тихонова. Это обстоятельство не могло не озаботить искренних друзей Пастернака, когда стало известно, что ему предстоит выступать на конгрессе. Талантливейший поэт, строки которого охотно цитировали ораторы, сам никаким оратором не был.

В первый же день приезда в Париж Борис Леонидович засел за текст своей речи, но у него ничего не получалось. Тогда ему вызвался помочь Эренбург. Но и от его помощи было немного проку: ведь почерки у этих двух писателей были разными.

Выручила приехавшая в Париж Марина Цветаева. Она предложила переложить прозой известное стихотворение Пастернака «Так начинают года в два». Дело сдвинулось с мертвой точки, но, когда Пастернак вышел на трибуну,

он от волнения был близок к обмороку. Его речь заняла в газете лишь четыре строки. «Поэзия,— сказал он неуклюже,— останется всегда той, превыше всяких Альп прославленной высотой, которая валяется в траве, под ногами, так, что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли...»

Увидев отчет в газетах, Борис Леонидович безмерно огорчился и тут же попросил отправить его домой. Вся советская делегация утешала его.

Обо всем этом Тихонов рассказывал как о забавном курьезе. Но эпизод с Пастернаком научил его многому.

Краткость Пастернака пытались истолковать по-разному. Ведь уже тогда делались попытки оторвать этого известного поэта от всего отряда советской поэзии. На разные лады «объяснялось» его молчание, и только главное не принималось во внимание — неумение поэта говорить с публикой. Но истинные ценители поэзии Пастернака увидели и другую черту. В подтверждение хочу привести письмо Тихонову Марины Цветаевой от 6 июля 1935 года, тем более, что в нем — яркая характеристика сразу трех: поэта-автора, поэта-адресата и их товарища по перу.

«Милый Тихонов,

Мне страшно жаль, что не удалось с Вами проститься. У меня от нашей короткой встречи осталось чудное чувство. Я уже писала Борису: Вы мне предстали идущим навстречу — как мост, и — как мост заставляющим идти в своем направлении. (Ибо другого — нет. На то и мост.)

Что Вам этот край — по сердцу и по силам — я верю и вижу. Вы сам — этот край. Факт своего края, а не свидетельство о нем. Вы сам — тот мост, — из тех, что сейчас так много строят. Видите — начав с иносказательного моста, кончила — достоверным, и рада, как всему, что — само.

С Вами — свидимся.

От Б. — у меня смутное чувство. Он для меня труден тем, что все, что для меня — право, для него — его, Борисин, порок, болезнь...»

Тихонов любил вспоминать, как он вверг в изумление Эренбургов, когда в первый же день приезда заявился к ним в гости. Он знал название улицы и название вокзала, около которого жили Эренбурги. Денег на такси у него не было. Но зато была вырезанная из какой-то старой энциклопедии карта Парижа. По ней он прошел почти через весь город от своей гостиницы до нужного дома.

Эти два забавных эпизода были для него маленькой разрядкой в полной напряженной жизни и работе в составе советской делегации. Вокруг конгресса был поднят истеричный вой правых газет. Да и в ходе работы этого международного совещания было немало вещей, которые не могли не настораживать. Вполне понятно, почему немецкий делегат выступал в маске.

Антисоветчики масками не прикрывались. Они пользовались любой возможностью, чтобы досадить советской делегации.

Отдыхали советские писатели среди французских рабочих, хотя и на заводах и фабриках нужно было быть готовым к разного рода провокациям, которые могли устроить антисоветчики. И они устраивали их.

— Что ж, нам нужна была закалка,— говорил Тихонов. — И мы приобрели ее.

В этом нетрудно убедиться, обратившись к книге стихов «Тень друга», написанной по свежим впечатлениям от первой поездки за границу. А ведь Тихонов проехал тогда панскую Польшу, Австрию, Германию, побывал во многих французских городах и возвращался домой из Лондона паромом. Кстати, в Лондон он поехал по приглашению друзей.

Европа 1935 года показалась Тихонову такой, какой «в ту ночь была Помпея, пред тем как утром пеплом лечь».

Но он увозил с собой не только мрачные впечатления. «Тень друга», то есть человека мыслящего и думающего, как он сам, все время незримо следовала с ним. Тихонов не мог не увидеть сил, противостоящих фашизму. Он написал стихотворение о памятной встрече с одним из антифа-

шистов, когда пароход шел по Кильскому каналу. Увидя корабль под советским флагом, немецкий портовый рабочий радостно приветствовал советских людей:

Кулак он сжимает, шагает вперед,
Ротфронта салют кораблю отдает.

И смотрит, как будто его не узнал,
На тихий, как каторга, Кильский канал.

С особым чувством Тихонов возвращался в родной город. Он был глубоко убежден, что солнце развеет мрак.

Угасает запад многопенный,
Друга тень на сердце у меня,
По путям сияющей вселенной
Мы пройдем когда-нибудь, звеня.

Но куда б по свету ни бросаться,
Не найти среди других громад
Лучшего приморского красавца,
Чем гранитный город Ленинград!

Тихонов понимал, что эта его поездка в Европу была путешествием перед бурей. На конгрессе он приобрел первых зарубежных друзей, увидел, как нелегко им было бороться тогда, в 1935-м, когда еще не грянула война. Он хотел поддержать их, и книга «Тень друга» стала чем-то вроде письма единомышленникам.

— Это мы хорошо почувствовали, — рассказывал потом венгерский поэт Антал Гидаш.

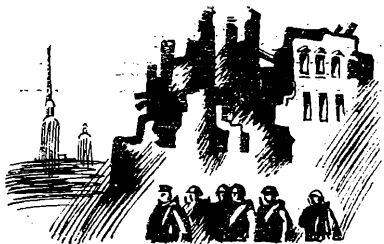
С мечтой о свободной Венгрии уезжал защищать республиканскую Испанию другой венгерский писатель, известный у нас в стране как Мате Залка, а в Испании ставший легендарным командиром интербригады Лукачем.

Но поездка за границу, встреча лицом к лицу с капиталистической действительностью заставили Тихонова еще серьезнее заняться собственной «боевой» подготовкой. Он, прошедший школу первой мировой и гражданской войн, хорошо понимал, что новая война потребует от него еще

больших усилий. И пока была передышка, он не только оттачивал свое писательское умение, но все чаще и чаще обращался к практическим делам большой общественной значимости. В числе первых советских писателей он оказался в рядах Советской Армии на финской войне. Стараниями его, А. Твардовского, С. Вашенцова, Н. Щербакова, других писателей, художников, журналистов газета «На страже Родины» превратилась в своеобразную лабораторию нашей советской военной журналистики. Опыт, приобретенный этой газетой, вскоре пригодился.

Именно тогда, пока еще не грянул гром Великой Отечественной войны, Тихонов обратился к нашим военным руководителям с рядом предложений, осуществление которых, по его мнению, должно способствовать улучшению воспитательной работы среди воинов. М. И. Калинин горячо поддержал его идею создания в каждой воинской части писаной истории ее; Главное Политическое Управление Красной Армии разработало стройную систему воспитания личного состава на боевых традициях, предусматривавшую использование не только опыта гражданской войны, но и богатого боевого наследия русской армии. Имена Суворова и Кутузова, Ушакова и Нахимова, славных защитников Севастополя и героев Шипки были как бы призваны на действительную воинскую службу.

Конечно, во всем этом заслуга не одного Тихонова. Но нельзя не воздать ему должного за большую заботу о повышении боеготовности наших Вооруженных Сил.



В ЖЕЛЕЗНЫХ НОЧАХ ЛЕНИНГРАДА

Вспоминая сорок первый год, мы часто говорим о неудачах, потерях, просчетах. Мы еще привычно называли Гитлера ефрейтором, бесноватым фюрером, но уже начинали понимать, что не просто фашистская Германия; но чудовищная по мощи капиталистическая машина навалилась на нас и вовсе не ефрейторы стояли у руководства военными действиями, а первоклассный, обученный алгебре современной войны генералитет.

Понимание этого было приобретено немалой ценой.

Ошибки могут быть ступенями лестницы, ведущими либо вниз, либо вверх. Сейчас, когда через сорок лет окидываешь мысленным взором пережитое, не можешь не признать: ошибки сорок первого помогли нам стать мудрее, найти в себе способность не только выстоять, выстрадать; но и сделать первый шаг навстречу победному сорок пятому.

Память снова и снова переносит меня на дымные и пыльные дороги от западной границы к стенам Ленинграда. Все горит вокруг. Все дрожит. И нельзя головы поднять, потому что над дорогами с рассвета до заката висят фашистские самолеты. От них не скрыться, не убежать, и само слово «воздух», казалось, в эти дни утратило свое вековое прямое значение, а стало чуть ли не равнозначным слову противоположному — «смерть».

И вдруг в очередной авиационный налет, когда мы повалились в кюветы, в свежие воронки, прижались к деревьям, чтобы воспользоваться этой, пусть ничтожной и

жалкой, но иллюзией защиты, старшина Семен Якунцев остался на шоссе, скинул с плеча карабин и выпустил обойму по «мессеру». Не знаю, чудо ли произошло, во-сторжествовала ли, наконец, ярость мести, просто ли редкая удача постигла Якунцева, но на наших глазах фашистский самолет камнем рухнул наземь, рухнул так, что взрыв его при падении на мгновение перекрыл все другие шумы войны. И этого мгновения оказалось достаточно, чтобы сотни, тысячи запуганных «воздухом» подумали: не боги горшки обжигают.

Конечно, и после того дня фашистские самолеты продолжали бесчинствовать. Но зато им навстречу теперь щерились тысячи винтовок и автоматов, пулеметов, а то и просто взглядов, исполненных не страхом, но гневом.

А как забыть Зиновия Колобанова, командира танковой роты! Его рота была поставлена в засаду на пути вражеской колонны, рвавшей к Гатчине. Наши танкисты сумели поджечь сперва головной танк, потом перенести огонь и ударить по хвосту длинной бронированной колонны. И в результате в тот день 43 немецких танка, 18 орудий и минометов, 11 бронетранспортеров были уничтожены.

И этот бой тоже был одним из великих уроков сорок первого: чтобы побеждать, одной смелости недостаточно. Нужны и безупречное знание тактики, и сила воли, и точный расчет. С той поры факелами горели фашистские танки под Ленинградом. И даже первый «тигр», появившийся на советско-германском фронте, был не только укрошен у стен нашего города, но и взят с поля боя для того, чтобы наши артиллерийские конструкторы нагляднее увидели, как лучше бороться с такой доселе не виданной бронированной громадой.

Прошло сорок лет, но я, как живого, вижу красноармейца Дробинского, с которым познакомился на Ораниенбаумском плацдарме. В тот день он спрятал в вещевом мешке три стреляные гильзы.

— Зачем? — спросили его.

— Сегодня убил трех фашистов.

Товарищи подтвердили: это произошло на их глазах.

Могли ли предполагать работники газеты 8-й армии «Ленинский путь», публикуя заметку о трех выстрелах одного солдата, как отзовутся они по всему фронту от Белого моря до Черного! А ведь именно у нас на Ленинградском фронте, видимо, потому, что он стабилизировался первым, началось буквально всенародное движение снайперов — истребителей фашистских оккупантов.

Сегодня эти факты нашли свое место в истории. Они оценены. Но важно было начать это осмысление. И Тихонов стал одним из первых военных публицистов-теоретиков.

22 июня 1941 года вышел экстренный выпуск «Ленинградской правды». В нем был опубликован официальный текст, переданный по радио, о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз и первые отклики — резолюции собраний трудящихся заводов имени Жданова, «Большевик», «Красный выборжец», прядильно-ниточного комбината имени Кирова, письмо воинов Н-ской части. Рядом с ними — заметка Н. Тихонова «Мы победим!».

«Пусть знают враги,— писал Тихонов,— что мы будем сражаться и в поле, и в домах, и в небе, и на воде, под землей и под водой. До последней капли крови, до последнего дыхания мы будем бороться, защищая честь, независимость и свободу Родины».

23 июня 1941 года в «Ленинградской правде» напечатано его первое стихотворение о войне — «Не отдадим!».

Пусть знает враг, на нас войной идущий,
Поднявший меч на наш простор цветущий,
Что ждет его лишь гибель впереди —
Мы ничего ему не отдадим.

И до этого любивший газетную площадку как лучшую трибуну для разговора с читателем, теперь, с первого дня войны, Николай Семенович начал работу в печати рассматривать как свою первейшую обязанность.

Сперва «Ленинградская правда» и газета Ленинградского военного округа (еще не ставшая фронтовой) «На

страже Родины» предоставляют ему свои страницы, слово Тихонова мощно звучит по радио, в центральной печати. Иван Гаглов, представивший в осажденном городе «Красную звезду», заметил в своих воспоминаниях, что «с первого дня войны квартира Тихоновых стала «отделением» многих газет... Мы удивлялись, как можно успевать столько писать, а главное — писать страстно, с сердечным волнением и литературным мастерством».

Было удивительно и другое. Как смог молодой Тихонов так точно предсказать и свою собственную судьбу? В книге стихов «Поиски героя» (1923—1929) он напечатал «Сагу о журналисте», в которой есть строчки:

Газеты, как сына, его берегут,
Семья его — все города.

Так с ним и случилось. И о причинах сказано точно:

Событья зовут его голосом властным:
Трудись на всеобщее благо!

«Всеобщее благо». по Тихонову — уже с тех пор! — уничтожение фашизма.

Сага о журналисте

Даже сегодня, когда минуло более трех десятилетий после Победы, перечитывая в разных газетах статьи Тихонова, рассказывающие о героической обороне Ленинграда, не перестаешь сопереживать ее событиям и участникам: столь точно и живо переданы факты, столь осязателен в них пульс времени, которым жили все мы. И еще одно важно: эти статьи дают представление не только о подвиге Ленинграда, но и о подвиге писателя. Только Тихонов действительно многожильный мог взвалить на свои плечи эту ношу и нести ее достойно.

«В те дни,— вспоминал Б. Лихарев,— Тихонов жил по правилам зимовщика-северянина или в режиме альпиниста, совершающего высокогорное восхождение».

— Очень точное определение! В нем обозначены и условия жизни и организованность человека, привыкшего к невзгодам, умеющего правильно распределить свое время, свой быт, подчинить их главному — выполнению долга, и с наилучшими результатами. Вспоминается один, может быть, незначительный, но весьма характерный для Николая Семеновича факт. В комнатах на Зверинской все двери были открыты настежь. Это делалось для того, чтобы скудное тепло от блокадного очага распространялось равномерно по всей квартире.

— Пусть будет один градус тепла, пусть температура упадет еще ниже, — говорил Тихонов, — но зато она будет ровной. Так правильной, так легче.

Все меньше нас, свидетелей и участников блокадных будней, а еще меньше тех, кому довелось наблюдать работу Тихонова на войне. Мне он казался сошедшим со страниц своей собственной поэмы, которую с особым настроением написал к 1 декабря 1941 года, к 7-й годовщине со дня смерти С. М. Кирова. Высокий, с обветренными скулами, со светлыми глазами, оттененными черными кругами, голосом с хрипотцой, такой характерной для тех, кому довелось дни и ночи быть на переднем крае, Николай Семенович удивительно быстро сходился с людьми. И к нему тянулись люди. Стоило только ему начать говорить, как он становился центром внимания. Сила его убеждений была неизбывна, знания военного дела глубоки, а мысль, подобно фейерверку, стремительно взлетала вверх, чтобы высветить перед слушателями не только идею, но и картину, рожденную после воплощения этой идеи в жизнь.

Н. С. Тихонов встречался с командующим войсками Ленинградского фронта генералом Л. А. Говоровым, с руководителями обороны города А. А. Ждановым, А. А. Кузнецовым. О содержании этих бесед мы знаем от него. А вот в спорах с В. М. Саяновым — одним из немногих литераторов, хорошо знавших историю войн, с В. В. Вишневским, прошедшим трудный путь от красноармейца до

военного публициста, с А. А. Прокофьевым, на плечах которого сотлела от пота не одна солдатская гимнастерка, Тихонов все же выделялся эрудицией, широтой охвата событий, умением глубоко анализировать факты.

Сперва он был в звании интенданта, но и тогда Саянов справедливо называл его генералом, подчеркивая этим особую природу «военной косточки» Тихонова.

Однажды, уже в послевоенные годы, мне пришлось быть свидетелем разговора Тихонова с Саяновым о значении самоотверженности на поле боя. Обращаясь к подвигам Гастелло и Матросова, которые не задумываясь отдали жизни ради успеха товарищей, Саянов говорил, что в этих подвигах наиболее полно проявился характер советского солдата, и все мы — в некупном долгу перед павшими героями.

В статье «Из пережитого» Тихонов вспоминал:

«До Великой Отечественной войны я пережил три войны. И первая мировая война, и гражданская, и зимняя финская кампания 1939—1940 годов были не эпизодами, а большими событиями, которые глубоко потрясли меня и оставили значительные следы в моем творчестве...

...Я и в перерыве между войнами изучал военное дело, военную историю, потому что мне было ясно, да об этом нам говорили ежедневно, что нам предстоит решительный бой с фашизмом, набиравшим силу и нагло провозгласившим лозунги о тысячелетней фашистской империи. Я был членом Локафа* и активно участвовал в его работе. Мною был написан роман «Война», вторую часть которого, о будущей войне с фашистами, я не успел написать до 1941 года и очень рад этому, потому что на примере Павленко с его романом «На Востоке» я ясно увидел, как невозможно предсказать события заранее.

Во время осады Ленинграда, в зиму холода и голода,

* Литературное объединение Красной Армии и Флота. Создано в 1930 году. В 1934 году в связи с образованием Союза писателей СССР прекратило свое существование.

я без жалости бросил в печку многие книги военных специалистов, и наших и зарубежных, потому что ни один их вывод о будущей войне в жизни не осуществился».

Какое же оружие выбрал для себя Тихонов?

Самое грозное — публицистику. Только И. Эренбург да, пожалуй, К. Симонов могли сравниться с ним в самоотверженной, напряженной, непрерывной работе для газеты. Они не просто откликались на все события, происходившие на фронте, помогали читателю осмыслить их. Их можно было уподобить разведчикам, добывавшим сведения, необходимые всем — от высшего командования до солдата.

Давняя дружба связывала Н. С. Тихонова с «Ленинградской правдой». С первых дней блокады она еще больше окрепла. Со страниц «Ленинградской правды» Тихонов говорил с земляками о самом важном, необходимом. Вот заголовки только некоторых его статей: «Институт патриотов», «Ты защищаешь Ленинград!», «Наш народ бессмертен», «Героические традиции Кировского завода»...

До сих пор не изучена сколько-нибудь серьезно его работа на радио. А она была напряженнейшей. Достаточно вспомнить, что начиная с 9 августа 1941 года он ежедневно выступал по ленинградскому радио. В ноябре же 1941 года — 5 раз — 5, 7, 8, 17 и 21 ноября. Тексты этих выступлений до сих пор не опубликованы.

Он, будучи по должности руководителем писательской группы при Политуправлении Ленинградского фронта, считал себя штатным сотрудником и фронтовой газеты «На страже Родины». В августе 1942 года Тихонов написал двадцать шесть статей и очерков. Двенадцать были опубликованы в этой газете.

Почти ежедневно из Смольного, где размещалась писательская группа, он по пути на Зверинскую заходил на Невский, 2, в редакцию фронтовой газеты. Он был нелегко, этот восьмикилометровый путь, который сегодня мы незаметно проделываем в троллейбусе или в машине. Тогда ни один вид городского транспорта не работал. И хождение

по улицам было небезопасно. После войны в рассказе «Невский проспект» Николай Семенович живо напишет об этом:

«Я прижимался вплотную к стене, я бросал ее быстро и прыгал вперед, я, задерживая дыхание, пережидал, делал шаг, прислушиваясь; опять мое тело перемещалось вдоль стены, скользя, как будто я был ящерицей; потом я выпрямлялся и выходил на середину тротуара и так же стремительно снова направлялся к стене».

Так в полной темноте, прислушиваясь к близким и дальним разрывам фашистских снарядов, передвигался он по Невскому проспекту «в глухой час века, если можно сказать, в час ленинградской осады».

«Я шел к углу Невского и Дворцовой площади, в редакцию военной газеты. Я не мог ни изменить этот путь, ни облегчить его. Район обстреливали — тут ничего не поделаешь».

В другой статье, вспоминая блокаду, Тихонов говорил о том, что работать в городе было «огромной честью, потому что никогда так не была слита жизнь народа с великой партией, никогда в Ленинграде так не ощущалась сила партийного, всенародного коллектива, как в те дни, полные трагического и героического. Казалось, что город Ленина сам по себе излучает силу, накопленную поколениями революционеров».

Сейчас, когда заново перечитываешь публицистику Тихонова военных лет, видишь, как много внимания уделял он среди важнейших вопросов и тем исследованию героического и особенностей характера русского народа.

В статье «Сила России», напечатанной 25 августа 1941 года в газете «На страже Родины», Тихонов говорил, что «светоч Октябрьской революции, зажженный бессмертным гением народа, не может угаснуть. Для русского нестерпимо самое слово «рабство»...

Эта мысль развита во многих статьях, в том числе в статье «Мы — русские», напечатанной 14 апреля 1943 года в «Известиях»:

«Мы — русские! С этим сознанием сражаются от моря до моря сыны гордого и свободного народа. Рядом со своими братьями, сынами всех народов Советского Союза, истребляют они подлое племя захватчиков».

Россия, народ, партия, человек — вот что составляло суть публицистики Тихонова. В каждом факте, который он приводил в своих статьях, автор видел, хотел видеть главное — его природу, силы, питавшие людей, о которых он хотел рассказать. Ни одному из них он не позволял быть глашатаем истин в последней инстанции. Все герои его очерков и статей были плоть от плоти народа. Иные публицисты стремились превратить своих героев в небожителей, не замечая, что описываемые ими подвиги как бы вырывали одного — героя-богатыря — из общего ряда. Тихонов же писал о героях так, что каждый прочитавший статью или очерк мог примерить подвиг к себе, подумать: «Раз тот смог, то и мне доступно». Герои были правофланговыми в общем строю. И сам Тихонов никогда не выходил из этого строя. Он жил в осажденном городе, как все другие ленинградцы. Он так же был худ, как и те, кто его окружал, так же был верен своему долгу, терпелив и вынослив. Хорошо сказал о нем на одном из писательских собраний Борис Лихарев:

— Николай Семенович делал в блокаду все, что было положено нам, и еще кое-что. Это «кое-что» и делало его фигуру притягательной на переднем крае.

Тихонов был воплощением скромности, хотя по роду своей работы мог бы рассчитывать на получение каких-то, пусть эфемерных, льгот или благ. Но поддаться соблазну — значило для Тихонова утратить право обращения к участнику обороны Ленинграда как к однопольчанину.

Из всего этого слагался «символ веры» Тихонова, который как бы подкреплял всю его работу поэта, публициста, прозаика. Он находил любую возможность для того, чтобы умножить свой личный вклад в победу.

В 1942 году группа писателей — лауреатов Государственной премии — Н. Тихонов, С. Маршак, С. Михалков и

художники Кукрыниксы построили на свои сбережения танк, дали ему имя «Беспощадный». Художники нарисовали на броне карикатуру, поэты написали стихи, и танк ушел в бой. Через полтора года те, на чьи средства была построена боевая машина, снова встретились с экипажем. Им был представлен отчет о ратных делах танкистов. Экипаж оправдал имя своей машины.

Тихонов постоянно бывал на переднем крае, выступал на митингах и на радио, активно участвовал в создании Военным советом фронта и партийной организацией города того, что сегодня мы назвали бы моральным климатом Ленинграда.

Б. Лихарев назвал Николая Семеновича «безотказным писателем», тем самым приравнивая его перо к оружию нашего солдата. Он не мог припомнить случая, чтобы хоть одно задание осталось не выполненным Тихоновым. Ни обстрел, ни бомбежки не могли помешать ему.

Письменный стол Тихонова, по свидетельству Лихарева, походил на штабной стол какой-нибудь воинской части. На большом листе бумаги, как на оперативной карте, цветными карандашами — желтым, синим, зеленым, красным — была расчерчена на неделю яркая диаграмма. Тут были заказы и «Правды», и «Ленинградской правды», и маленьких дивизионных многотиражек, и наброски к «Ленинградскому году», составившие потом книгу под таким названием.

С 6 марта 1942 года в «Правде» начинают печататься рассказы Тихонова. Первые десять были написаны в Москве, куда ненадолго прилетел Николай Семенович. Они тут же вышли в издательстве «Правда» отдельной книжкой — «Черты советского человека».

Другим боевым заданием для Тихонова стали ежемесячные обзоры в «Красной звезде». Они назывались «Ленинград в июне», «Ленинград в июле» и охватили период с мая 1942 года по январь 1944 года. Это была по существу летопись героической обороны города.

— Побольше фактов! — такой был мой девиз при писании обзоров, — рассказывал Николай Семенович. — Но факты нужно было добывать. И вот приходилось все время совершать челночные операции: из города — на передний край, из города — во все концы фронта.

Однажды он поехал на передний край вместе с инструктором Политуправления. По пути ему показалось, что можно сократить расстояние и выиграть время, если свернуть на едва видимую дорогу. Свернули на нее, проехали немного и вдруг услышали: «Стой!» Оказалось, что дорога была уже заминирована. Не останови их вовремя офицер, трудно сказать, не оказалась ли бы эта поездка на фронт последней.

Тихонов придавал своим обзорным статьям большое значение. Он писал их не только для защитников города, не только для воинов переднего края. Он все время думал о людях, работавших в тылу, и еще более о ленинградцах, оказавшихся на всех фронтах и во всех уголках страны. Его обзоры становились для них важным источником информации.

— В письмах того времени, адресованных мне, — вспоминал Николай Семенович, — можно найти много просьб о том, чтобы я описал родные места. «Если я найду в следующем обзоре что-нибудь о Васильевском острове, я буду знать, что мое письмо дошло», — писал один адресат. И приходилось отпраиваться на Васильевский, выискивать там что-то заслуживающее внимания и через газету отвечать читателю.

Женщина из Йошкар-Олы написала Тихонову, что прочла ежемесячные обзоры в книге «Ленинградский год» и — словно бы подарок получила.

«Вы можете себе представить, как я читала Вашу книгу. Это была не книга, а письмо, письмо близкого человека».

А вот что сообщали автору партизаны:

«Тов. Тихонов, Вы можете гордиться своими статьями о Ленинграде. Их читают вся оккупированная Украина,

Белоруссия, Польша и Чехословакия, мы проталкиваем их в Германию».

Такие письма — лучшая награда публицисту.

Два заказа

Работа в газетах, на радио, почти ежедневные выступления на митингах и собраниях, выполнение специальных заданий Политуправления и командования фронта истощали духовные и физические силы. В дневнике Вс. Вишневского от 17 апреля 1943 года записано: «Тихонов более усталый, чем зимой... Чувствует, что куда-то уходит за пределы литературы. Но он дисциплинированный, работает».

Тихонов был не только публицистом, он продолжал оставаться поэтом.

В самую трудную пору блокады музы не молчали. Тихонов продолжал возглавлять ленинградскую поэтическую дружину. В ней собрались не просто люди большого мужества, но и больших возможностей. Недолго прожила в осажденном городе Анна Ахматова. Но именно в эти дни она сумела написать стихи, как никогда прежде исполненные самой высокой гражданственности, веры в нашу победу. Анна Андреевна, с ее полнейшим неумением обиходить себя, ориентироваться в простейших житейских делах, стала в один строй со всеми ленинградками. Помнится, в конце сентября 1941 года состоялся общегородской митинг ленинградских женщин. Ахматова дала согласие выступить на нем, но неожиданная болезнь помешала ей выйти из дома. Тогда на помощь ей пришло радио. Ее речь транслировалась на митинге.

— Вся жизнь моя связана с Ленинградом, и я, как и все вы сейчас, живу одной непоколебимой верой в то, — говорила она, — что Ленинград никогда, ни на один час не будет фашистским.

На весь мир прозвучала ее знаменитая «Клятва»:

И та, что сегодня прощается с милым, —
Пусть боль свою в силу она переплавит.
Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто не заставит!

В каждый ленинградский дом, в каждую квартиру вошел голос мужества и гнева, веры и печали, голос Ольги Берггольц. Талант ее окреп в блокаду и обрел небывалую до этого силу. Особенность поэзии Берггольц состояла в том, что она «по праву разделенного страдания» говорила не просто с читателем, а как бы обращаясь к каждому в отдельности. Она была собеседницей и советчицей, учила мужеству и сама черпала мужество у своих слушателей.

Финская кампания вооружила некоторым боевым опытом таких признанных мастеров стиха, как Александр Прокофьев, Виссарион Саянов, Борис Лихарев. Из окопов переднего края обороны, с кораблей Балтики их поддерживали более молодые товарищи — Алексей Лебедев, Михаил Дудин, Сергей Орлов, Вадим Шефнер, Георгий Суворов и многие другие. Запевалой оставался Тихонов. У него учились оперативности и уменью на малой площади газетного листа сказать многое, то, что нужно было солдатам, как патрон в подсумке, как пайка хлеба. Социальный заказ, о котором столь много говорили до войны на дискуссиях, посвященных поэзии и освоению традиций Маяковского, для Тихонова давно стал непреложным законом жизни.

Широко известна поэма Николая Семеновича «Киров с нами». За нее он был удостоен Государственной премии. Но далеко не все знают, что эта поэма была написана по заказу «Правды». Конечно, газета не ставила перед ним задачу написать именно поэму. Правдисты знали, что Тихонов фактически давно стал биографом Сергея Мироновича, посвятил ему стихи, очерки, рассказы и даже кинофильм, может лучше других выполнить это задание. Тихонов понял, сколь высока оказанная ему честь, и незамедлительно взялся за дело.

Потом он вспоминал, как глубокой ноябрьской ночью шел через весь город из Смольного к себе, на Зверинскую, как смутно во тьме вырисовывались здания, изредка мелькали огоньки. Люди, похожие на сказочных гномов, разбирали развалины только что расколотого вражеской бомбой дома. Когда он ступил на Дворцовый мост, Петропавловка была освещена, как театральная декорация. Это горели в саду Народного дома «американские горы».

«В эту ночь дома, при свете коптилки, накинув на плечи бурку (было очень холодно), я думал о просьбе из Москвы», — писал потом Тихонов.

Он понял, что, если нужно «говорить самым сокровенным, самым громким и правдивым голосом о том, что Киров среди нас, он, презиравший смерть, умевший вести в бой большевиков, сближавший народы Кавказа, то надо говорить об этом стихами».

Собственные его шаги по городу, погруженному во мрак, как бы подсказали ритм будущей вещи.

И в ярости злой канонады
Немецкую гробить орду
В железных ночах Ленинграда
На бой ленинградцы идут.
И красное знамя над ними,
Как знамя победы, встает.
И Кирова грозное имя
Полки ленинградцев ведет!

Поэма «Киров с нами» вошла в летопись обороны Ленинграда как выражение высокого духа горожан, защищавших в содружестве с воинами колыбель Октября. Вместе с тем она свидетельствовала о высоком уровне культурной жизни города.

Не нужно думать, что Тихонов был наделен каким-то магическим даром преодолевать трудности, что ему все удавалось в равной степени. И некоторые его рассказы несли на себе печать спешки, и некоторые стихи выходили из-под пера отнюдь не такими, как хотелось автору.

Расскажу об одной крупной неудаче, которую Тихонов вместе с Саяновым потерпели, когда получили задание создать фильм о героической обороне Ленинграда.

Об этой истории не написано в книгах, посвященных творчеству Николая Семеновича и Виссариона Михайловича. Да и сами авторы не часто вспоминали о ней. Тем интереснее о ней рассказать.

Передо мной — «Плановый сценарный договор», заключенный 18 августа 1947 года между директором студии «Ленфильм» И. А. Готовым, Н. С. Тихоновым и В. М. Саяновым на сценарий «Битва за Ленинград».

В то время мне довелось часто общаться с Виссарионом Михайловичем Саяновым, который буквально отключился от всех дел, чтобы сосредоточиться только на сценарии. Саянов каждую неделю приезжал в Москву, где с 1944 года, со времени избрания его секретарем Союза писателей СССР, постоянно жил Николай Семенович. Да и Тихонов, несмотря на колоссальную загрузку общественными делами, старался обязательно выкроить время, чтобы поработать над сценарием.

В письме М. Кемпе* (декабрь 1947) он сообщает:

«Сейчас я тружусь день и ночь, удалившись от всей суеты, над сценарием «Битва за Ленинград». Я никогда в жизни не стал бы заниматься этим странным и не приносящим радости жанром, если бы речь не шла с моим родным городе и его людях, которые на своих плечах подняли бессмертие, а это не такая маленькая ноша. Кроме меня и Саянова (я пишу вместе с ним), нет других энтузиастов, которые сделали бы такое дело.

Мой долг ленинградца, плохо или хорошо, довести дело до конца. Конечно, горя мы хлебнем с этим сценарием. Но мы работаем, совершенно уйдя в сценарий. Тысячи людей толпятся в моей памяти и даже во сне требуют себе места в сценарии. Их так много — а я один.

* М. Я. Кемпе — латышская поэтесса, давний друг Тихонова.

Очень большое удовольствие создавать заново историю тех уже прошедших грозных и прекрасных дней, когда я сам думал, что смерть подстерегает меня ежедневно и играет со мной, как кошка с мышкой.

Там будет много женщин, мужчин, детей».

Тихонов и Саянов хотели воссоздать в кино военный Ленинград.

Читаю заключение, сделанное начальником сценарного отдела студии С. Карой от 3 июня 1948 года:

«Авторами сценария много сделано для исторически достоверного и конкретного раскрытия этапов борьбы за освобождение Ленинграда от фашистской блокады. Удалась авторам военная часть сценария (раскрытие стратегического замысла обороны Ленинграда и наступление войск Ленинградского фронта, описание военных действий). В этой, военной части мы находим не только конкретное, живо заинтересовывающее читателя описание боев за город Ленина (в атаку через Неву до сигнала, появление первых «тигров» на фронте, постройка немцами стартовых площадок для самолетов-снарядов «ФАУ-1», поездка Говорова и Кузнецова на тральщике в Ораниенбаум и т. п.). В этой части сценария есть... выпукло обрисованные фигуры людей (генерал Симоняк).

Не удалась авторам сценария все персонажи и почти все эпизоды, связанные с показом самого города в блокаде».

Этот вариант сценария был возвращен на доработку, до 1 июля 1948 года.

22 июля того же года Тихонов получает телеграмму:

«Министр кинематографии категорически настаивает на скорейшем представлении сценария. Срок сдачи пятнадцатого июля нарушен. Примите необходимые меры ускорения работы сдачи сценария пятого августа. Саянов об этом предупрежден. Директор Ленфильма Глотов».

Представляются новые варианты, устраиваются новые обсуждения, высказываются пожелания и требования, а дело по существу не двигается с места. В нашем кинема-

тографу еще не был найден жанр, вернее сплав жанров, который мог бы удовлетворительно решить грандиозную по масштабам задачу всестороннего показа подвига Ленинграда и его защитников в односерийном фильме.

Вот стенограмма заседания художественного совета «Ленфильма» от 11 сентября 1948 года. Выступавшие Ф. М. Эрмлер, Г. М. Козинцев, А. Г. Иванов, Л. З. Трауберг, Б. Ф. Чирсков и другие высказали немало ценного. Ближе всех к истине был А. Г. Иванов. Он говорил:

«Сценарий для художественно-документального фильма нам приходится, насколько я знаю, обсуждать впервые. Необычность жанра, собственная привычка, долголетняя работа над картинами знакомого жанра, подчас какое-то внутреннее сопротивление написанному в сценарии, так как оно изложено не в обычной, привычной, ставшей законной форме, желание потянуть на сюжет, на судьбы отдельных людей, на героя в обычном смысле этого слова и в то же время понимание, что этот сценарий не просто сюжетный сценарий, а жанра нового, диктующего свои права,— все это делает оценку чрезвычайно трудной, очень ответственной».

Его поддержал А. В. Ивановский: «Как известно, каждое художественное произведение нужно рассматривать исходя из тех законов, на основании которых автор писал его. В данном случае авторы написали сценарий художественно-документального фильма, а мы все критикуем его как художественный сценарий».

Еще раньше, в недрах сценарного отдела, возникла идея соединить воедино сценарий Тихонова и Саянова с поступившим на «Ленфильм» сценарием С. Васильева и Юрия Германа «Слава Ленинграда». На художественном совете это предложение нашло поддержку почти всех. Только Саянов (Тихонов на обсуждении не присутствовал) решительно воспротивился. Он говорил, что если соединить эти два сценария, то получится «гибрид из подсвечника и графина, а не из пшеницы и репея».

Он заявил далее:

«Когда мы в министерстве получали заказ на этот сценарий, я, как один из авторов, прямо сказал: «Имейте в виду, что мы — не кинодраматурги, поэтому «ремесленная» часть у нас, пожалуй, окажется слабой».

Нам сказали, чтобы мы не волновались.

У нас все время не клеилось дело с прикреплением режиссера. Сначала к нам прикрепили т. Васильева. Мы встретились с ним только один раз, прочли ему первый вариант. Он сказал, что дело может выйти, дал несколько ценных указаний, а затем у нас с ним связь была потеряна. Через некоторое время нам дали нового режиссера — т. Ивановского, который работал с нами около полутора месяцев, помог нам свести сценарий из двух серий в одну. Затем т. Ивановский был назначен на другую картину, а нам сказали, что режиссером нашим будет вновь назначен т. Васильев. Тов. Васильев за все это время ни разу не встретился с нами, а вы сами понимаете, что хорошо сделать сценарий без соавторства с режиссером невозможно даже для опытных сценаристов».

Саянов отказался принять идею слияния двух сценариев. Его поддержал Тихонов. Начались бесконечные переговоры, а дело стояло, и фильм в конце концов не появился. А жаль. При всех недостатках сценария, о которых убедительно говорили члены художественного совета, сегодня, когда перечитываешь его свежим глазом, не можешь не видеть, что Тихонов и Саянов пусть ошупью, но шли по правильному пути. Поскольку сценарий не был нигде опубликован, я позволю себе процитировать из него несколько отрывков. При этом прошу читателя помнить, что цитаты — не из современной книги, а из рукописи, написанной более трех десятилетий назад.

Вот сцена, названная «Блиндаж на Вороньей горе».

«Командующий группой «Норд» генерал-фельдмаршал Георг фон Кюхлер, командующий 18-й армией генерал-полковник Георг Линдеман и генерал — начальник штаба Линдемана беседуют, рассматривая карту.

Кюхлер. Почтенный генерал-фельдмаршал фон Лееб совершил осенью колоссальную ошибку, не перейдя сразу же Неву у Шлиссельбурга. Он рассредоточил силы и понес жестокие потери. Если бы не это, Ленинград был бы уже наш. Но ничего! Голод — наш хороший союзник. Когда пробьет час нового штурма, Ленинград больше ничто не спасет.

Линдеман. Фюрер правильно предсказал, что голод добьет ленинградцев и Ленинград упадет нам в руки, как перезревшее яблоко.

Кюхлер (*внимательно смотря на Линдемана*). Иногда для того, чтобы перезревшее яблоко упало в руки, нужно как следует потрясти яблоню. (*Обращаясь к начальнику штаба.*) Что у вас за фотография в руках? Чем вы так увлеклись, генерал?

Генерал протягивает ему снимок.

Кюхлер. Что это такое? Это какая-то сложная статуетка?

Генерал. Памятник тысячелетию России, поставленный в Наугардте, по-русски — в древнем Новгороде.

Кюхлер. Что вы хотите с ним делать?

Генерал. Я хочу подарить этот памятник моему родному городу Истенбургу. По моему приказу его уже начали разбирать.

Линдеман. Вы большой оригинал. Какое значение имеет этот памятник, когда Россия навсегда кончилась?

Кюхлер (*улыбаясь*). А уж во всяком случае Ленинград-то скоро кончится. Мы сделаем колыбель революции могилой революции...»

Убедительной, как мне кажется, получилась сцена «Кировский завод».

Во время обстрела директор завода вместе с ушедшим в ополчение Дмитриевым, бывшим работником парткома, а ныне старшим батальонным комиссаром, и молодым рабочим Мишей Сиверцевым обходят цех.

«Директор. Видишь, Дмитрич, работаем день и ночь. Ничего не скажу, скажу одно — тяжело... Давно ты на заводе был?»

Дмитриев. Как ушел в ополчение, так и не был. Что это?

Они услышали, как вдруг резко задребезжал станок. Обернулись — увидели сразу, что суппорт кружится, а человек, стоявший у станка, теперь мертвым лежит на полу. Оба бросились к нему. Дотронулись до тела. Поднялись, посмотрели друг на друга широко раскрытыми, суровыми глазами.

Директор. Вот так каждый день. И там и тут...

Пушка. На лафете пушки лежит рабочий. Другой говорит:

— Товарищ директор, пушка готова.

...Чинят танк. Рабочие наклоняют головы и невольно отступают за машину, когда рвется поблизости снаряд и осколки свистят над головами.

Мишка (к директору). Где мой старик, как он?

Голос сверху (в мегафон). Старик ничего...

Миша, директор и Дмитриев смотрят вверх. В сумраке над танком висит на тросах кресло. В кресле сидит старик Сиверцев. Он наклоняет мегафон и снова говорит:

— Старику что делается? У нас, старых большевиков, кость железная...

Один из рабочих. Кость железная — это верно, а вот мясо-то пообносилось...

Сиверцев. Мясо нарастет, была бы кость»...

Заканчивался сценарий такой сценой.

«Одна из фронтовых дорог. Бредет отвоёванный солдат, израненный, украшенный орденами и медалями. А на встречу — лавиной на Запад — подразделения, пушки, танки. Среди воинов — полковник Дмитриев, Черных, сапер Петров, Миша, Витя, Таня Сиверцевы.

Колонну перегоняет машина. Останавливается на обочине. Из машины выходит Маршал.

— Откуда путь держите?
— Ленинградцы мы!
— Прямо из Ленинграда!
— Ленинград освободили!
Маршал. А теперь куда?
Солдаты. На Берлин идем».

Слов нет, сценарий был безупречен. И все-таки жаль, что он до сих пор остается в архиве. Пусть не был поставлен фильм. Но не пора ли его напечатать? Николай Тихонов и Виссарион Саянов были первопроходцами в решении большой и важной темы, которая до сих пор не исчерпана ни в литературе, ни в кинематографе,— темы героической битвы за город Ленина.

**Доверие
земляков**

Свыше двух тысяч трудящихся Дзержинского и Куйбышевского районов собрались 5 января 1946 года в белоколонном зале Ленинградской филармонии на предвыборное собрание. Его открыл седобородый академик Иосиф Абгарович Орбели, который вместе с Николаем Семеновичем проводил поздней осенью 1941 года под гул вражеских снарядов и бомб знаменитое торжественное собрание, посвященное 800-летию классика азербайджанской литературы Низами.

На этот раз собрание было особое.

— Мы собрались здесь,— говорил Орбели,— для выполнения важной государственной задачи... Мы должны сговориться и наметить кандидатами в депутаты Верховного Совета СССР достойных людей.

Это были памятные всем нам дни. Выборы Верховного Совета второго созыва означали не только торжество нашего советского строя, только что выдержавшего страшное испытание войной. С трибун предвыборных собраний

мы могли еще раз оглянуться на пройденный путь и воздать должное лучшим из нас, облечь их своим доверием.

Незадолго до этого памятного дня случилось так, что в одном купе поезда «Красная стрела» встретились трое старых знакомцев — Николай Семенович Тихонов, знаменитый летчик Петр Андреевич Пилутов и автор этих строк. Мне приходилось немало писать о воздушных победах летчика, в том числе и о той, что принесла ему орден Ленина с порядковым номером 40. Этот орден Пилутов получил за участие в спасении челюскинцев, когда был бортмехаником самолета Василия Молокова.

— Мне очень хочется посмотреть на этот орден,— слово бы между прочим сказал Тихонов.

— Так это же проще простого!— воскликнул Пилутов.— Поедем с вокзала завтракать ко мне.

— Завтракать нужно дома,— ответил Тихонов.— Другое дело — обедать.

— Намек понял,— улыбнулся Пилутов.

И на следующий день мы сидели в квартире Пилутова на улице Майорова; ели прекрасный послевоенный винегрет и вспоминали товарищей, которым хватило бы места за нашим скромным столом, но, увы, они не дожили до победы.

Я уже знал, что Тихонова и Пилутова намечено выдвинуть кандидатами в депутаты Верховного Совета СССР. Но знали ли они? По всей вероятности, знали, но ни словом, ни намеком не выдали своего волнения.

Пилутов и Тихонов были людьми непохожими. Поразному сложилась их жизнь. Петр Андреевич считал для себя, деревенского паренька, большим достижением стать бортмехаником самолета. Правда, потом, после челюскинской эпопеи, он сумел окончить школу летчиков и принять боевое крещение во время боев у озера Хасан. Но жизнь складывалась так, что ему не пришлось много читать, получить сколько-нибудь систематическое образование. Тихонов был для него однополчанином, знающим что-то очень

важное, нужное, что не входило ни в военные уставы, ни в наставления.

Но тогда, за обеденным столом, они — Пилутов и Тихонов — показались мне если не братьями, то людьми близкими, и эта близость прежде всего наполнилась любовью к городу.

После обеда мы шли по проспекту Майорова к Синему мосту, постояли у памятника Петру, проводили Николая Семеновича до проспекта Добролюбова, где и расстались.

— Будто книгу сегодня прочитал, — признался Пилутов. — Как много знает Николай Семенович!

Пилутов говорил о том, что ему в жизни повезло: судьба все время сводила его с такими людьми, за которыми он должен был тянуться. И всем, чего он добился, обязан именно этим товарищам.

Через несколько дней я вспомнил этот разговор на митинге в Филармонии. Ораторов на предвыборном собрании было много, но все они характеризовали Николая Семеновича почти так же, как Пилутов. Они называли Тихонова «солдатом и певцом осажденного Ленинграда», говорили о присущей ему высокой ответственности перед горожанами и воинами, сложившими свои головы, защищая город Ленина. Об этой черте характера Николая Семеновича говорили и писательница Кетлинская, и стахановка типографии имени Ворошилова Карпова, и заслуженный артист РСФСР Калганов, и писатель Борисов, и старший лейтенант Соколов... Для всех нас Тихонов был совестью Ленинграда.

Когда пришла пора выступать Тихонову, он сказал:

— Я жил в Ленинграде в годы Отечественной войны и участвовал в его героической обороне. И я понял, что великое счастье выпало мне — видеть в жизни то, о чем другие узнают только из книг. Я видел Человека с большой буквы, о котором мечтал Горький. Это советский человек, выдержавший исторический экзамен, совершивший подвиг мирового значения.

Тогда же в газетах было опубликовано интервью с Николаем Семеновичем по поводу того, что он понимает под словом «патриотизм». Быть патриотом — значит жить одной жизнью с народом, не над ним, не вне его, а именно вместе, жить для Родины, во имя ее,— был ответ.

Позднее эту мысль он разовьет в одной из лучших своих статей «Отчий край», которая была опубликована в «Правде».

«О патриотизме, то есть о любви к Родине, о глубоком чувстве преданности ей и готовности к любым лишениям во имя этого, я знал еще с детства. Я впитал это с молоком матери. И школа, и окружающие меня простые рабочие люди, ремесленники воспитали меня всей силой души и сердца любить землю, на которой родился и вырос».

Он вспомнил работников музея в Павловске, которые не показали фашистам места, где были зарыты статуи, украшавшие аллею старого парка. Всех их фашисты расстреляли. В один ряд с ними он поставил офицера-артиллериста Дмитрия Хлудова, выходца из московской купеческой семьи, которую революция лишила всех привилегий. Этим офицером заинтересовался приехавший в Россию английский журналист Александр Верт, добивавшийся от Хлудова признания: как же он нашел в себе силы так храбро защищать власть, нанесшую столь существенный урон его семье? После Белорусской операции, летом 1944 года, Хлудов писал Верту: «Я могу с гордостью сообщить Вам, что моя батарея совершила чудеса храбрости... Да, знаю, мои родители были буржуи, но, черт побери, я русский, стопроцентный русский и горжусь этим, и народ наш сделал эту победу возможной после всех ужасов и унижений 1941 года!..»

Тихонов вспомнил и старую питерскую работницу Праксковию Павловну Круглякову, которая в самом начале войны по радио обратилась к молодым товаркам по труду. «Не смерть страшна,— сказала она,— а страшна жизнь при фашизме». И молодые работницы ответили ей большим

письмом. Они писали: «Мы слушали Вас, Прасковья Павловна! Это дочери клянутся своей любимой матери, что фашисты не будут в нашем городе».

Под статью Кругляковой была московская ткачиха Наталья Ильинична Дубяга, с которой Тихонов побывал на только что восстановленной Будапештской ткацкой фабрике. Они остановились у одного станка. Ткачиха работала медленно. Нитки рвались.

— Что это так? — спросила Дубяга. — Почему рвутся нитки?

— Хлопок плохой, — язвительно сказал сопровождавший их спец.

— А откуда его берете?

— Из Советского Союза, — подчеркнуто громко ответил он.

— Позвольте, — сказала Дубяга, — покажите-ка мне его. Как это так — плохой? Я на нем всегда работаю.

И она встала к станку и показала молодой ткачихе, как нужно работать.

Все эти факты, сливаясь воедино, образовывали могучую реку. Имя ей — советский патриотизм.

В день выборов улицы Ленинграда были украшены портретами кандидатов в депутаты. Рядом с портретом Тихонова висел стихотворный плакат:

За ленинградца,
Чей душевный склад
И прям и прост,
Как строй его баллад;
Чье честное,
Бесстрашное перо
В борьбе со злом
Прославило добро;
За воина,
Что с нами был в бою, —
ЗА ТИХОНОВА
ГОЛОС ПОДАЮ!

Н. С. Тихонов был единодушно избран в депутаты Верховного Совета СССР.

Давний друг Тихонова известный прозаик Николай Никитин, выступая на одном из предвыборных собраний в дни избирательной кампании, вспомнил стихи Николая Семеновича; написанные еще в 1922 году и четко определившие жизненную позицию поэта — зачем жить и за что бороться, и прочел, как бы отвечая на этот вопрос вместе с поэтом:

Затем, чтобы, жизни сжигая великую муть,
Сметая работой плесень,
Могли бы огромною грудью вздохнуть,
Простор за просторами взвесить.
Чтоб жить, не барахтаясь на мели...

«Мы привычно говорим,— сказал Никитин,— большому кораблю — большое плавание. Вряд ли Тихонов предполагал, что ему придется плавать одновременно в разных морях, даже в океанах, бурных, подвластных всем штормам, где нетрудно было бы сбиться с курса, если бы не верные руки и глаз, сквозь мрак и бурю видящий выбранный курс».

Сказанное относится не только к депутатской деятельности Тихонова. Он был одновременно председателем Советского комитета защиты мира, членом Всемирного Совета Мира, председателем Комитета по Ленинским и Государственным премиям. Любая из этих общественных обязанностей требовала полной самоотдачи.

Просто удивительно, как Николай Семенович справлялся с этими высокими и многотрудными обязанностями. Одни поездки отнимали у него не только время, которое так нужно для работы за письменным столом, но и требовали неимоверного напряжения воли, твердости, такта. Он объездил чуть ли не весь мир. И всюду в нем видели достойного представителя великого советского народа. А ведь многие из этих поездок отнюдь не напоминали визиты в гости к друзьям. Но вот что обращало на себя внимание: чем больше, чем резче выступал Тихонов против врагов дела мира, врагов своей родной страны, тем больше

завоевывал уважение в странах, где ему приходилось бывать. Как-то из одной поездки он привез газету, где его называли «знаменосцем мира»... Он чувствовал себя явно не в своей тарелке, когда мы рассматривали газету.

— Ваш брат газетчик не скупится на слова, но мне дорог этот номер газеты другим.

И он обратил наше внимание на фотографию, на которой он был изображен вместе с одним из простых горцев, проторивших пути к вершине Эвереста. Тихонов считал для себя высокой честью быть сфотографированным с этим человеком — проводником тех, кто на высочайшем пике пожинал славу, принадлежавшую по праву ему, не умеющему ни писать, ни читать.

Скромные, рядовые люди всегда привлекали к себе внимание Николая Семеновича. Это можно было проследить и в его переписке с избирателями. К нему обращались и многие, не понимавшие, что не все ему подвластно, что он вовсе не маг и не волшебник. Но именно просьбы избирателей были для него своеобразным барометром, показывавшим, оправдывает ли он их ожидания.

Можно привести в подтверждение сказанного множество примеров. Как-то я даже попытался застенографировать его обычный приемный день. Но, перебирая эти записи, я вижу, что главное в беседах Николая Семеновича с людьми, голосовавшими за него на выборах, были не обещания (он если давал их, то обязательно в меру своих сил выполнял), а сам характер разговора, его умение отгреть душу человека, пришедшего к нему с горем или печалью.

К нему обращались по разным поводам, личным и общественным, просили его участия в решении проблем, имеющих общегосударственное значение и не выходящих за рамки одной квартиры.

Вот одно из писем:

«Дорогой Николай Семенович!

Обращаемся к Вам как к депутату Верховного Совета СССР. Мы, рабочие совхоза «Лиственский» отделения

Скверы Бокситогорского района Ленинградской области, просим Вас помочь нам в ремонте шоссеиной дороги от станции Заборье до деревни Лидь, в налаживании регулярного движения автотранспорта на этом участке...»

Через месяц были приняты меры. Исполком Ленинградского областного Совета народных депутатов рассмотрел вопрос, поставленный в письме, и решил его без проволочек.

Тихонов никогда не был добреньким, никогда не спешил выразить сочувствие. Он порой бывал сдержан и строг, но люди видели, как он хочет им помочь, как умеет проникнуть в самое сокровенное, и этого часто бывало достаточно, чтобы духовно поддержать человека.

Но были и другие случаи.

Кто на Ленинградском фронте не знал капитана Александра Строилова! Имя его было занесено в «Золотую книгу» одного из полков 45-й гвардейской стрелковой дивизии. 15 ноября 1942 года «Правда» писала о нем, что «большевик-гвардеец Александр Строилов, один из тех русских командиров-самородков, что впитали в себя традиции великого Суворова: „Воевать не числом, а умением“». О Строилове писали Н. Тихонов, В. Саянов, В. Кушкин, В. Карп и многие другие.

Что же сделал этот офицер? В сентябре 1942 года его батальон форсировал Неву и под огнем противника захватил плацдарм. За умелое руководство батальоном, за личный героизм Строилов был удостоен ордена Ленина, а личный состав 1-й стрелковой роты в количестве 114 человек награжден правительственными наградами. Это была первая орденосная рота на нашем фронте. Потом, когда потребовалось укрепить одну из ключевых позиций фронта — крепость Орешек, начальником ее гарнизона назначили Строилова.

И вот в 1959 году Тихонов узнал, что Строилов находится в заключении. Строилов и... тюрьма — это никак не укладывалось в сознании. А произошло вот что. После

войны, приняв командование подразделением в новой части, Строилов доверился людям бесчестным, и в результате на складе, за который он нес ответственность, образовалась недостача, Строилова осудили.

Это известие буквально ошеломило Тихонова. К нему обратились ветераны 45-й гвардейской дивизии за помощью: своими силами они ничего не могли добиться. И тогда Тихонов избрал единственный путь: он не защищал Строилова, но как заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР обратился в Верховный Суд, рассказал о заслугах гвардии капитана. Он высказал уверенность, что в решении его судьбы имела место ошибка.

К голосу депутата прислушались.

Когда Кириши стали всесоюзной комсомольской ударной стройкой, выступая перед рабочими, Тихонов говорил:

— Из вашего города я унесу с собой огромный запас солнечной энергии, которую получил от вас, и за это я вам сердечно благодарен.

Но мало кто знал в то время, что вместе с чувством благодарности строителям, возводившим на бывшем поле боя новый город, Тихонов увез с собой в Москву длинный перечень нужд киришан и этот наказ долго определял работу депутата.

Впрочем, если говорить о деятельности Н. С. Тихонова, депутата Верховного Совета страны, то следует прежде всего вспомнить о событии, получившем резонанс во всем мире.

В марте 1951 года состоялась сессия Верховного Совета СССР. Главным докладчиком на сессии был председатель Советского комитета защиты мира Н. С. Тихонов. Его доклад назывался «О запрещении пропаганды войны и о принятии Закона о защите мира».

Немногие знают, сколь трудно дался Тихонову этот доклад. С любой трибуны, в любой стране он мог бы говорить о необходимости защищать мир свободно и раскованно, без бумажек: он говорил бы о том, что было выношено и прочувствовано, что было не темой, а сутью его

жизни, как и бытия многих людей и народов. Но он не мог забыть о том, что его доклад тотчас станет достоянием мировой прессы. В каждой капиталистической стране найдется немало охотников по-всякому препарировать сказанное им и использовать любую оговорку, чтобы исказить смысл выступления. Наконец, с трибуны сессии Верховного Совета СССР должен был говорить депутат-писатель, и он не мог не упомянуть о том, как деятели культуры во всем мире относятся к вопросам всеобщей безопасности. Именно поэтому он счел необходимым сказать несколько слов о романе Джудит Меррих «Омраченный очаг». Американская печать подняла эту книгу на щит за то, что она «показывает рядовому американцу, как важна подготовка к отражению внезапного вражеского нападения на крупные города США». Роман оправдывает необходимость гонки вооружений, говорил Тихонов. А советские люди хотят вместо самолетов и атомных бомб, пушек и танков строить новые дома, возводить города, улучшать благосостояние трудящихся. Вот почему Закон о запрещении пропаганды войны и принятие Закона о защите мира станут важным пропагандистским актом миролюбия СССР.

— Принятие этого Закона будет сильным ударом по всем зловным пропагандистам войны, — говорил Тихонов, — по всем человеконенавистникам, продажным слугам империалистических агрессоров, живущих клеветой на миролюбивые народы. Принятие Закона о защите мира будет новым вкладом Советского государства в дело мира, защиты лучших достижений человечества в борьбе с мрачной и дикой реакцией, толкающей народы в пропасть новой мировой катастрофы.

12 марта 1951 года парламент страны принял этот Закон.

Но Тихонову, как и многим соратникам его, именно в этот день стало ясно, как много еще предстоит сделать, чтобы принятый документ обрел практическую силу.

Николай Семенович однажды рассказал такую историю.

В годы, предшествовавшие принятию Закона, о кото-

ром шла речь выше, он был с киноэкспедицией в снегах Эльбруса. Снимался фильм об альпинистах, и все торопились закончить работу до наступления осенних вьюгов, которые могли бы отрезать экспедицию от дороги. Нужно было спускаться в долину Баксана. Ночью прошумел ветром первый снегопад. Утром же через снежные завалы к палатке экспедиции спустился один из работников высокогорной экспедиции Грузинской Академии наук, которая оставалась на зимовке в горах Эльбруса. Он сообщил, что его товарищи только что подписали Обращение Всемирного Совета Мира.

— Это было рискованно, но я решил подняться к домику экспедиции, чтобы позжать руки своим друзьям,— рассказывал Николай Семенович.— Мы пробирались по колено в сугробах, под свист ветра. А когда поднялись, провожатый сказал мне: «Как жаль, что метель не позволяет увидеть с этой высоты всю нашу страну. Мы всюду бы увидели, как ставят подписи под Стокгольмским воззванием советские люди». Я не сказал ему тогда, что во всех своих поездках по странам мира я видел, как брошенные нами семена прорастают, дают всходы.

Николай Семенович чувствовал себя одним из садовников, лелеявших молодое древо. И оно остается вечно зеленым, ибо мечта о мире всегда устремлена в будущее. Вот почему в Калькутте и Париже, в Сплите и Хельсинки он старался не столько разъяснять значение лозунгов, сколько рассказывать о своей Родине. О том, что было в России до революции и чем стала Россия в наши дни. И нищий из Карачи вдруг получал возможность мысленно приложить пережитое нами к своей жизни, и эта жизнь начинала казаться ему не столь безнадежной, чем ранее, до знакомства с этим убеленным сединами русским человеком с лицом, изрезанным морщинами и овеванным ветрами многих широт. Всюду Тихонов рассказывал о Ленинграде. Он любил повторять: «У Ленинграда столько друзей, сколько сторонников мира». Поздравляя ленинградцев с новым, 1957. годом, он писал в «Ленинградской правде»:

«Мало какие города обладают такой силой воздействия, так влюбляют в себя, так надолго остаются в памяти сердца».

Для него самого, как он рассказывал, слово «Ленинград» служило паролем, по которому люди в разных странах и на разных континентах пропускали его в свои сердца. Убежденный интернационалист, он повсюду находил своих друзей. Конечно, их связывала прежде всего забота о мире. Среди его друзей были писатели и государственные деятели, видные антифашисты и простые крестьяне.

Однажды он шутливо рассказывал, что в Калькутте будто бы встретился с героем своей поэмы о Ленине «Сами», написанной еще при жизни Владимира Ильича. Постаревший Сами ютился с семьей в лачуге, сооруженной из ящиков. Над входом висел портрет Ленина. Люди со всей округи приходили к Сами послушать новости из России, потолковать о своих делах. Городские власти предложили ему новую благоустроенную квартиру, но тот не захотел покинуть свое жилище: «Кто же будет работать среди обитателей трущоб?»

Шутливый рассказ прозвучал реально.

Среди друзей Тихонова был арабский поэт Михаил Нуайме, юность которого прошла в Полтаве, и судьба свела его в свое время с будущим знаменитым ленинградским арабистом Игнатием Юлиановичем Крачковским. Как и Сами, Нуайме верил в счастливую звезду, в обновление России. В годы реакции, последовавшей после первой русской революции, арабский поэт писал по-русски:

О, мы верим, Русь,
Верим всей душой,
Что весна придет
И в твою края.

В 1950 году, как известно, состоялся исторический Варшавский конгресс сторонников мира. Немногие сегодня знают, что этот конгресс сперва предполагалось провести в Англии, в Шеффилде. Тогдашний английский премьер-

министр Эттли широковещательно заявил, что не видит никаких препятствий для проведения конгресса: Англия, мол, свободная страна. Но препоны вырастали одна за другой. И не только в Англии.

Одним из организаторов итальянской делегации был старый друг Николая Семеновича коммунист Эмилио Серени. Итальянская делегация оказалась большой, и, чтобы достичь Гавра, где предстояло пересесть на паром, ей нужно было пересечь Францию по железной дороге. В Италии каждый может заказать поезд, если у него есть деньги. Но выяснилось, что «свободных вагонов» к моменту отправки делегации не оказалось. Тогда рабочие Турина на свой страх и риск сформировали состав и отправили его с таким расчетом, что итало-французскую границу поезд пройдет глубокой ночью, когда всем положено спать, никто не появится на перроне, а виз для проезда из Италии во Францию туристам не нужно. Но в Ницце французские чиновники все-таки заинтересовались загадочным поездом, идущим вне расписания. Серени, как организатор поездки, заверил чиновников, что знает всех «туристов» поименно, и предложил представителям властей записать их имена. Он стал диктовать: «Америго Веспуччи, Джузеппе Гарибальди, Сандро Боттичелли, Паоло Веронезе, Карло Гольдони...»

Чиновники поняли, что идет розыгрыш, но он был столь мастерским, что все схватились за животы и не могли смахнуть с глаз слезы смеха.

Вот таким был еще один из друзей Тихонова, которому в конце концов пришлось везти итальянскую делегацию в Варшаву, ибо англичане отказались пустить сторонников мира на свои острова.

Не помню, тогда ли или вернувшись из другой поездки, Николай Семенович рассказал мне, что познакомился с удивительной немецкой женщиной, ставшей во время войны медсестрой в концлагере для советских военнопленных в Дрездене. Эта женщина по своей воле пришла в лагерь и действительно стала сестрой для всех, кто был уже на

краю могилы. Городские обыватели смотрели на нее как на прокаженную. Ее чуть не расстреляли советские танкисты, освободившие тогда лагерь, ибо для них она была одной из сотрудниц этого страшного лагеря. Прошло несколько лет, и на одном из свирских шлюзов М. Дудин, художник А. Соколов и я познакомились с механиком, который хорошо знал фрау Берту: она спасла его от заражения крови в дрезденском лагере.

— Об этом нужно написать рассказ,— наставлял Тихонов.

Но я так и не выбрал времени. Прошло немало лет. И вот в составе делегации ленинградских писателей я побывал в гостях у сталеваров немецкого городка Фрейталь, близ Дрездена. Рядом со мной за столом сидела немолодая женщина с тонкими, почти прозрачными руками. Тут в третий раз я выслушал историю о фрау Берте Гизе и познакомился наконец с ней лично. А ведь, признаюсь, когда впервые услышал о ней от Николая Семеновича, не очень-то поверил ему.

Но он никогда ничего не выдумывал. Он мог «додумать» детали. Сам факт оставался неизменным.

— Мне везет на людей,— любил повторять он.— Защита мира—самая высокая идея современности. Она собирает под свои знамена людей, имена которых стучатся в легенды.

Общественная, государственная, писательская работа Тихонова не были обособлены. Они не составляли трех разных сторон его деятельности, а все вместе определяли цельность характера поэта, его гражданскую, человеческую суть.

Отчая земля много значила для Тихонова. Он вспоминал, как однажды стоял на самой южной точке Цейлона, на мысе Дондры, и смотрел, как в бесконечные дали Индийского океана уходили зеленоватые волны.

— А какая же первая земля попадетсЯ, если плыть все на юг и на юг? — спросил он друзей.

— Советская, — засмеялись его спутники.

— Как — советская? — удивился Николай Семенович.

— Конечно, сначала будет только океан, — объяснили ему: — А потом — Антарктида. Берег Правды. Город Мирный. Советский город.

«С каким-то внутренним волнением я представил себе, что это так действительно и есть, — писал Тихонов. — И после зеленых вод тропиков вы подплываете к айсбергам, за которыми полощется красный флаг Советского Союза».

Со всех концов нашей страны он видел прежде всего свой родной город над Невой. Он любил писать о Ленинграде, и действительно написал о нем много — в стихах и прозе. Но, объехав полмира, побывав в городах и странах, которые трудно найти даже в географическом атласе, он снова и снова возвращался на улицы и площади родного города, чтобы запастись душевным теплом, помолчать возле памятника Ленину у Смольного, снова ступить на палубу «Авроры», которая давно «стала знаком пробуждения всечеловеческой зари».

В книге стихов «Времена и дороги» он проводит читателя по памятным и дорогим ему местам Ленинграда — набережной Невы, к ленинскому броневнику, по тихим улочкам Петроградской стороны, к памятнику Пржевальскому, от которого он, может быть, начинал мысленно свои путешествия по белу свету. Для него во все времена года город

Шагает в золотом узоре,
В узоре солнечных оград, —
О Ленинград! — как зори, —
Какое счастье — Ленинград!

В декабре 1966 года Николаю Семеновичу исполнилось семьдесят лет. Этот юбилей стал событием в культурной жизни страны. Тихонов первым из советских писателей был удостоен звания Героя Социалистического Труда. На чествование его в Москву съехались представители всех союзных республик. Торжественное заседание преврати-

лось в праздник советской культуры. На нем присутствовали и ленинградцы.

Николай Семенович захотел отметить свой юбилей и в кругу давних, самых близких друзей. Он приехал на берега Невы. Один из литературных вечеров, связанных с юбилеем, стал своеобразным турниром поэтов. Они поднимались на трибуну и читали стихи о Тихонове. Это были не просто здравицы в честь ветерана и верного солдата литературы. Каждый хотел сказать, чем он лично обязан Тихонову. Александр Прокофьев говорил о том, как помогла ему дружеская рука Николая Семеновича в 1930 году, когда его критиковали за песни о Ладогe. Вспомнил он и совместную работу в осажденном Ленинграде.

Прокофьев писал:

С тобой давно мы ладом ладили,
Сдружила крепко нас Нева,
Где мы с тобой не только гладили,
Но и ерошили слова!

Мы их ерошили, ерошили,
И повели, и повели,
Как хорошо, когда хорошие
Слова-дружки не подвели!

Я не забыл объятья братские,
Когда ударил грозный шквал!
Забыть ли ночи ленинградские,
Ты их железными назвал.

И это — сотни раз доказано —
Нешадно било по врагу,
С железной силой было сказано
На славном невском берегу.

Блокадной спичкою, махоркою
Делились мы, товарищ мой,
Всем, чем могли, — последней коркою
И первой чаркой фронтовой.

Не скроешь это за печатями,
Не позабыть того вовек —

Был с нами друг наш замечательный,
Высокой доли человек!

Не позабудет друга ж нашего
Его родная сторона...
А нам с тобой друг к другу хаживать
До самой...

Черт с ней, старина!

Добрые слова нашли для своих стихов Александр Чуркин, Мария Комиссарова, Людмила Попова, Николай Браун. С особой сердечностью говорил в стихах о Тихонове Педер Хузангай, чувашский поэт, представлявший многонациональную советскую литературу.

В одном из писем к Тихонову Павел Антокольский говорил о том, что они «вечные ровесники», что он ведет отсчет своей биографии с 1923 года, когда впервые узнал и полюбил Николая Семеновича. Кому же еще удастся сохранить целых полвека такое ровное, так светло горящее голубым светом, ни к чему не обязывающее, но обязательное по существу «чувство плеча», чувство *поколения*. Одного поколения зачинателей советской поэзии.

Антокольский прочел проникновенные стихи:

Седой солдат не хочет спать.
Сняв португю и рапиру,
Три ночи кряду он опять
Зовет друзей к большому пиру.

Там будет жгучая вода
Для всех гостей любого ранга,
Там будут юные года
Щедры, как скатерть-самобранка.

Он только потому и сед,
Что вьюги северные седы.
Он, табаком набив кисет,
Сломает ход любой беседы.

В словарь врубаясь сгоряча,
Сломает ритм, как мальчик голос.
Расскажет, как взята Тульча,
Как Троя девять лет боролась,

Как Чертов мост, оледенев,
Плясал под дудочку метели,
Как моледел солдатский гнев, —
А между тем века летели.

Три ночи кряду колесил
Он от Мадрида до Кавказа,
Чтоб у друзей хватило сил
Войти в страну его рассказа.

Седой солдат, седой поэт,
Седого севера товарищ,
Он только потому и сед,
Что убелен золой пожарищ.

Семидесятилетие Тихонова стало всесоюзным праздником литературы. А сам юбиляр, «поседелый, как сказанье, и, как песня, молодой», чуть уставший от торжеств, уже расчищал на письменном столе место для новых работ.



ОСЕНЬ В ПЕРЕДЕЛКИНЕ

В этой главе собраны беглые записи, сделанные после бесед с Николаём Семеновичем Тихоновым, предпринято первое обращение к его письмам, которыми он щедро одаривал многих, и в том числе меня, наконец, к некоторым — не страницам — а буквально листкам его необозримого, как океан, архива. Не устает поражаться тому, сколько фактов, событий, имен вместила его уникальная память. Но еще более поразительно, что Николай Семенович до последнего удара сердца чувствовал себя в строю, не мог ни на минуту отойти от дел, взятых на себя обязательств. Я выделю лишь те, которые прежде всего относятся к Ленинграду.

Старый путешественник, бывалый альпинист, он и в преклонном возрасте (не в старости: «старость» — слово не для него!) любил ходить. Сколько дорог, тропинок и просек исколесили мы с ним в Переделкине! Глаза его оставались зоркими, памятьливыми.

Если мы дважды проходили по едва заметной тропке в лесу, он, бывало, останавливался и рассказывал с подробностями о том, как именно у этой сосны нашел белые грибы. И тут же придумывал историю этих грибов, будто они были вовсе и не обычные дары природы, а специально предназначенные для него гонцы осени.

Каждая реплика, как и все рассказанное на тропе, только что придуманное, подсказанное неярким солнцем, запахом прелой листвы, хорошим настроением и, конечно же, вдохновением, была часто по сути своей завязкой

новеллы о человеческом счастье, общности людей, о наших взаимосвязях с природой, вольным сыном которой он родился. А иногда — законченной новеллой.

Стихи
из могилы
стола

Когда я писал книгу о Виссарроне Саянове, мне нужна была помощь Николая Семеновича. Ведь он многие годы дружил с Саяновым. Собственно, по его совету я и засел за работу. Но чем больше «начитывал» материалов о Саянове, тем больше открывал самого Тихонова.

Тихонов в статье «Весло и лопата» (1929), как мы помним, сказал, что многие написанные им стихи находили «могилу» в ящике его письменного стола, а то и просто шли в печь.

Я задумался: что это — метафора или рассказ о технологии работы?

— Серьезный вопрос, — будто мысля вслух, ответил мне Николай Семенович, когда, улучив время, я спросил его. — Было время, я исходил стихами, как по весне сугроб водой. Да, да, именно водой! Я не боюсь этого слова. Известно ли вам, что «Перекоп» вылился из пяти стихотворений, сочиненных в одну ночь?

Я этого не знал. Тем интереснее мне было взглянуть на черновики, на те стихи, которые не пошли в печь, а нашли могилу в ящике письменного стола. Но Николай Семенович не спешил удовлетворить мое любопытство.

Однажды получил от него объемистый пакет со стихами. Читаю одно за другим. Явственно слышу тихоновскую интонацию, а стихи мне совершенно не знакомы.

«Эти стихи — из могилы, — нашел в конце письма приписку. — Хотел бы знать, что Вы скажете об этом хламе».

Письму я обрадовался, хотя знал, что Николаю Семеновичу нужен не советчик: их у него в Москве под боком

достаточно. Просто он решил удовлетворить мое любопытство.

Когда я приехал в Москву, у него на руках была уже верстка журнала «Юность» со многими из этих стихов. Не все тут было равноценным. Но и по некоторым стихам можно было проследить, как вокруг поэта роились мысли и слова, из которых сложится «Орда». В отрывке из «Перекрестка утопий» снова многое взято напрокат из этого «роя»: «мы первые апостолы дерзания», «спасем недостроенное другими», «не дадим сгореть ему в огне». И вдруг среди всех «молний», «бездн», «мирозданий» и «космоса», тогда (в 1918 году) лишенного сегодняшних реалий, прелестные строки:

Полюбить бы песенки простые,
Чистые, как воздух на заре,
В них не нужно путать запятые,
О словах справляться в словаре.

«Зорь» в стихах явно многовато. Но зато они попали в хорошие строчки, припрятанные «отдельно в записную книжку».

— Ну, и как вам? — Николай Семенович хотел спросить небрежно. Он еще не решил для себя сам: хорошо ли делает, публикуя в конце пятидесятых годов стихи, написанные в 1913—1920 годах. В голосе его чувствовалось если не напряжение, то во всяком случае заинтересованность.

Я высказал свое мнение, не постеснявшись упомянуть о расхожих в те времена фразах и лозунгах.

— Но где-то похоронены и другие стихи? Очень хотелось бы прочесть.

Тихонов побеседовал показать еще кое-что, но для этого нужно, мол, съездить в город. Что ж, оставалось только ждать.

И — дождался!

Как-то Николай Семенович протянул мне тоненькую самодельную тетрадку, на титульном листе которой было аккуратно написано: «Н. Багрянцев. Опрокинутые миры. Поэма в 6 песнях. 1920 г.».

Багрянцев был не кто иной, как сам Николай Семенович. Но удивил не псевдоним красотой, а абсолютная точность того, о чем говорилось в названной выше статье «Весло и лопата».

Когда я читал эти стихи, подумал, что истинный поэт оценивается не только напечатанными строчками, но и вычерками, сделанными в рукописи. Вычерки делают его не беднее, а богаче.

И еще о том — как важен урок Тихонова для молодых поэтов! Ведь в его архиве неопубликованного осталось, пожалуй, столько же, сколько увидело свет.

Широко известно шутовское определение, чем опытный журналист отличается от начинающего: у опытного, когда он написал корреспонденцию, половина фактов остается в блокноте, молодому всегда не хватает хотя бы еще одного факта.

— А что — мудро! — заметил Николай Семенович. — Архив писателя можно сравнить с фундаментом здания. Кто из нас, любясь великолепным дворцом, думает о сваях, вбитых в землю, чтобы создать надежное основание?

— Но коль скоро так, необходимо время от времени демонстрировать перед нами и фундамент!

Николай Семенович улыбнулся своей хитрой улыбкой.

— Что-то же нужно оставить для исследователей творчества.

Я сказал, что порой для исследователей остаются такие россыпи, которые позволяют новыми глазами взглянуть на автора.

— Ну, уж это слишком.

Тогда я рассказал ему об архиве Ольги Берггольц. В добрые минуты жизни она любила одаривать нас, своих друзей, поистине царской милостью: давала читать свои дневники, которые писала с юношеских лет. Мне казалось, что в дневниках личность Берггольц обретала еще более крупный масштаб, чем тот, к которому мы привыкли. Как-то я сказал Тихонову, что опубликование дневников Берг-

голец позволило бы возродить в советской литературе утраченный особый жанр.

— Мы разучились писать дневники,— заметил Тихонов. — У нас не хватает времени даже на то, чтобы присесть к столу тогда, когда над нами не «нависает времени комиссар».

Он вспомнил строчки из стихов Маяковского, утверждавшего, что поэт только при этом условии чувствует себя «советским заводом, вырабатывающим счастье».

— А вам не приходила в голову мысль о том, как страшно бывает заглянуть в свое прошлое? — неожиданно спросил Тихонов. — Нет, не потому, что боязно увидеть себя наивным и неумелым. Если все, что ты написал, продиктовано совестью, тебе придется в краткие часы как бы заново пережить свою жизнь. А для этого нужно иметь крепкое здоровье.

— Но значит ли это, что писатель не должен обращаться к своему архиву?

— Конечно, нет! Нет и нет!

Тихонов говорил о том, что «в отвал» уходит вместе с породой множество хороших строк, и они, как подарок, вознаграждают автора. Без архивных залежей писатель становится и в собственных глазах как бы беднее. Архив — это не только прошлое, но и будущее. И дело не в том, что дневниковые записи, наброски, варианты, написанные в давние времена, могут пригодиться писателю для новой работы. Архив необходим исследователю, чтобы правильно определить путь поэта.

— Не нужно во что бы то ни стало стремиться опубликовать все, что выходит у тебя из-под пера,— убеждал меня Тихонов. — Но необходимо работать. Вот Юрий Олеша провозгласил: «Ни дня без строчки». Красиво сказано? А ведь по существу правильно. Идти в ногу с жизнью вовсе не означает фиксировать каждое событие, но фиксировать состояние своей души необходимо.

Когда я пришел работать в Лениздат, мне показалось, что настала пора опубликовать и ранние стихи Тихонова,

и то, что, может быть, не всегда было им записано, но о чем он охотно любил рассказывать, что в конце концов составило его «Устную книгу». Но тогда к предложению издательства Тихонов отнесся сдержанно.

— Поживем — увидим, — неизменно отвечал он. — Вы и так превратили меня в штатного сотрудника Лениздата. Из написанных мною предисловий и послесловий, статей и заметочек, гляди, целый том можно составить. А?

Тут не было преувеличения. Но добрых десять лет мы вынашивали идею о другой книге — о ленинградской блокаде. Не о сборнике, не о повести. О летописи осады.

«Книга о Ленинграде клубится во мне, как Везувий!»

Во время каждой нашей встречи Тихонов неизменно интересовался, как идет подготовка этой «Главной книги». Я боялся, как бы кто-нибудь не перехватил у нас саму идею. Тихонов думал о другом.

— Лениздат уже выпустил целую библиотеку книг о блокаде. Почему бы теперь вам самому не сесть за популярный очерк? Ведь написал же Брагин о Москве.

— О Москве — легче: по времени небольшой отрезок.

— Да, у нас 900 дней. Армия. Флот. Город. И все-таки нужно садиться за работу!

— Вам, Николай Семенович, и карты в руки.

— Напишу, но другую. Книга о Ленинграде клубится во мне, как Везувий.

У издательства тоже были свои планы. Мы предполагали работу одновременно в двух направлениях: продолжить выпуск коллективных рассказов участников обороны Ленинграда и исподволь готовить «Летопись» — подневную, основанную на документах повесть о том, что происходило в городе и у стен его. Здесь должно было найтись место военному приказу, решению исполкома, газетной заметке, письму на фронт или с фронта, фотографии.

Как-то в Переделкине мы набросали более или менее стройный план будущего издания. Я рассказал о предлагаемом издании по Всесоюзному радио, и в Лениздат хлынул поток писем, воспоминаний, документов, которые хранили ветераны. Чаще всего это были материалы трогательные, но беспомощные в литературном отношении и самостоятельного значения не имевшие. Тогда возникла идея издать их отдельными сборниками.

В марте 1972 года я писал Тихонову:

«После многолетних трудов нам удалось пробить одно очень важное и нужное, как мне кажется, издание. Дело в том, что в издательство поступает довольно много разного рода воспоминаний, документов от участников обороны Ленинграда, которым мы не могли найти места в наших тематических сборниках. Теперь будет выходить ежегодный альманах «Ветеран»*. Мы хотим собрать под его обложкой все, что есть уже у нас, и то, что хранится у старых ленинградцев, и то, что могут сказать, но до сих пор не сказали о своих товарищах участники блокады и обороны Ленинграда. Уже создали редколлегия, выделили одного товарища на роль ответственного секретаря, и дело пошло полным ходом. Рассматриваем все это как подготовительную работу к созданию «Летописи обороны Ленинграда» — главной книги Лениздата и, конечно, личной своей как издателя».

Николай Семенович поддержал нас. Идея «Ветерана» тоже заинтересовала его. По нашей просьбе первый сборник должен был готовить бывший работник газеты «На страже Родины», ставший потом командиром стрелковой бригады, Я. Ф. Потехин.

«Что касается материалов для сборника «Ветеран», то я на днях получил письмо и ответил товарищу Потехину Якову Филипповичу, — писал мне Тихонов 9 августа 1972 года, — что свой материал для сборника вышлю сразу после 15 августа».

* Первый сборник «Ветеран» вышел в 1977 году.

24 января 1973 года он сообщает мне, что 22 декабря на приеме в Кремле видел в последний раз председателя Ленгорисполкома А. А. Сизова и говорил с ним об увековечении подвига ленинградцев и о том, чтобы Сизов со своей стороны поддержал инициативу издательства.

12 июля 1973 года, узнав о смерти Сергея Ивановича Кабанова, бывшего командира нашего гарнизона на Ханко, он с огорчением пишет, что «уходят витязи один за другим», и торопит с «Летописью»: «Большое дело — для будущих поколений очень нужное».

Между тем дело с «Летописью» продвигалось медленно. Нам хотелось подключить к нему Ленинградский филиал Института марксизма-ленинизма, Институт истории Академии наук, научно-исторический отдел ЛенВО и другие организации. Приходилось много времени тратить на согласования, и мы долго топтались на месте.

12 августа 1974 года Тихонов напоминает:

«А как обстоит дело с той ленинградской книгой о ленинградской осаде — блокаде, о которой Вы имели разговор в верхах и получили разрешение на ее составление? Что слышно об этом сегодня? Тут, в Москве, возникло возобновление разговора о неоконченной, начатой, но не завершенной до конца работе. Покойный наш друг, замечательный Борис Владимирович Бычевский *, в свое время начал писать книгу о товарище Кузнецове А. А. Он назвал ее «Член Военного совета», т. е. ограничил рассказ участием Кузнецова в бытность его в Ленинграде, не трогая дальнейшего, т. е. переезда Кузнецова в Москву.

Каково будет Ваше мнение, дорогой Дмитрий Терентьевич, относительно возможности продолжения работы над этой книгой?

И — второе. Где в Ленинграде можно было бы найти материалы, относящиеся к этой теме? Не думайте только, что я хочу принять участие в этой работе. Нет, я просто

* Бывший начальник Инженерного управления Ленинградского фронта, автор книги «Город-фронт».

хочу посоветоваться с Вами, потому что имя товарища Кузнецова вполне достойно, чтобы о нем вспомнили, тем более, что если большая книга о Ленинграде будет в будущем, то без тов. Кузнецова не представить себе 900 дней битвы за Ленинград».

В письме от 5 сентября 1974 года он снова возвращается к этой теме:

«Конечно, пора бы уже начать готовить возможности издания книги-хроники для широкого народного чтения о городе-герое... Воспитательное значение для народа несомненно. С юности, со школы дети должны знать популярно сделанные книги о подвигах своих отцов и дедов. Не забудем, что Ленинград стал первым городом-героем...»

Пока шли согласования, ленинградский журналист А. Буров, кстати, один из инициаторов замысла, взялся сам написать на основе документов нечто вроде конспекта будущего издания. Мы придумали и название — «Блокада. День за днем». В каждом письме, при каждой встрече мне приходилось давать Николаю Семеновичу самую подробную информацию о ходе работы над книгой.

К сожалению, Тихонов не дожид до выхода ее в свет. Но убежден: порадовался бы за нее, за автора и издательство.

«Если
бог
даст...»

Молодой Тихонов работал не просто много, но жадно. Воинствующий романтик, он был одновременно человеком высокой организованности. Все, что он намечал сделать за день, делал непременно. Как и каждый писатель, он боялся спугнуть вдохновение, хотя был убежден, что оно обязательно придет к нему, стоит лишь сесть за стол.

В одном из писем Петру Андреевичу Павленко он рассказывал:

«Планы у меня такие. Я до 11/VII-1933 г. пишу 3 рассказа. Начаты «Сыры», «День отдыха», «Вечный транзит».

Так будет кончена 2-я книга рассказов; пишу два рассказа для «Костров»: о путешествиях, о профессии писателя,— главу для книги „7 ноября“...»

И так — всю жизнь.

Он не любил бросать слов на ветер и, если что-либо обещал, выполнял.

С годами он не утрачивал требовательности к себе, продолжал работать с полным напряжением сил. Но все чаще ему мешали болезни, другие обстоятельства. В нашей переписке он шуточно и подробно сообщает о том, что мешает ему работать.

«Не буду приводить подробные объяснения, почему так задержалась моя рецензия,— писал он мне 28 мая 1978 года. — Скажу только, что такого наполненного событиями мая я давно не встречал. А он еще не кончился, а дела являются в новом обличии каждый день. И дела эти связаны и с юбилеями, и с событиями в мире Комитета защиты мира, и в Союзе писателей, и в Комитете Государственных премий, который начинает свою сессию самым необычным образом — в июне месяце, когда обычно сессии кончались в апреле. Я не вижу отдыха и не имею его уже второй год».

В другом письме (от 29 июня 1978 г.):

«Я обещал Вам написать нечто вроде послесловия к книге Веры Михайловны Инбер, в которую вошли поэма «Пулковский меридиан» и дневник «Почти три года».

Я обещал Вам написать это в середине июня, но несчастный грипп, дошедший до меня, вывел меня из строя на несколько недель, и я, грешен, опоздал со сроком, правда, не по своей вине.

Я с опозданием посылаю Вам мое послесловие и хочу Вам сказать, что, если оно опоздало и Вам не нужно, отошлите мне его обратно, и я отправлю его в свой архив...»

Из многих человеческих слабостей он особенно не терпел неаккуратности.

В Лениздате шла книга воспоминаний одного участника обороны Ленинграда — С. Н. Борщева с предисловием Тихонова. Верстку я сам привез Николаю Семеновичу. На другой день он вернул ее мне прочитанной.

— Когда можно ожидать сигнал?

— Если бог даст, месяца через два,— не моргнув глазом, сказал я.

— Э-э-э, батенька, так не годится! С богом шутки плохи.

И тут, к слову, рассказал, как Мирзо Турсун-заде давал в Карачи интервью местным журналистам. Советского гостя спросили: не собирается ли он написать поэму о Карачи? Поэт отшутился: мол, если бог даст, то напишет. На следующий день газеты вышли с броскими «шапками»: знаменитый советский поэт будет писать новую поэму и просит аллаха помочь ему.

Прошло два месяца. Книга застряла в типографии Звонит Николай Семенович:

— Где же сигнал?

Мычу в трубку что-то нечленораздельное. Тихонов недоволен.

— Автор — человек немолодой. Он может не увидеть своей книги, если вы будете так нечетко работать.

Когда книга наконец вышла в свет, я сразу же с okazji послал ее Николаю Семеновичу.

Через несколько дней в редакцию пришел радостный С. Н. Борщев. В руках он держал свою книгу.

— Где вы достали? — удивился я. — Ведь изготовлены только сигнальные экземпляры.

— Николай Семенович прислал с поздравлением.

Мысли
вслух

Иногда Тихонова изображают таким литературным миротворцем с пальмовой ветвью в руках. Ошибочное представление! Благожелательный по натуре, Тихонов не

считал нужным скрывать свое мнение, критиковал произведения, которые ему не нравились. Достаточно вспомнить его многочисленные статьи, выступления на дискуссиях и собраниях. Даже его отношение к Маяковскому было не однозначным и менялось с годами.

7 июня 1925 года Б. Пастернак писал ему:

«Вы всегда несправедливы к Маяковскому. Прав все-таки оказался я в своем к нему отношении. Он написал «Парижские стихи», бесподобные по своей свежести»*.

В феврале 1930 года, отвечая на вопрос читателей журнала «Резец», Тихонов снова заметил, что не все с одинаковым знаком принимает у Маяковского, но для него бесспорно главное: «Искусство Маяковского направлено, несомненно, в массы. Это величайший поэт нашего времени, достойнейший спутник революции, не убоавшийся никакой «черной» работы, создавший сатиру советскую, театр (комедийный, буффонадный), блестящую агитку, оду, поэму: искусство его обогатило и поэтический язык, и живую речь».

25 ноября 1975 года на даче Тихонова в Переделкине мы вспомнили об этом ответе в связи с тем, что я завел разговор о книге В. Перцова.

— Перцов хотел сказать, что Маяковского стали считать великим поэтом после смерти, что современники, мол, не смогли его оценить по-настоящему. Приведенная вами цитата из «Резца» служит опровержением такому утверждению.

— А как Маяковский отнесся к вашему ответу? Прочел ли его?

— Думаю, что прочел. Ровно за месяц до его смерти мы с Луговским и Санниковым сидели в Доме прессы, уже собравшись ехать в Туркмению. К нам неожиданно подошел добродушно настроенный Владимир Владимирович и, обращаясь ко мне, сказал с явным удовольствием: «Все поругиваете меня...»

* Архив Н. С. Тихонова.

Однажды, когда, как мне казалось, Николай Семенович был особенно добр, я рискнул задать давно заготовленный вопрос о его отношении к Киплингу и к акмеистам.

— Киплинг — отличный поэт, — раздумчиво ответил Тихонов. — Уроки, взятые у него, могли пригодиться каждому, если иметь в виду мастерство, а не идейное содержание его поэзии. К акмеистам отношение сложнее. Многие из них у меня не вызывали симпатий.

— Но вы же в свое время выхлопотали паек Ахматовой и тем спасли ее!

— Поэту Анне Ахматовой, а не акмеисту.

Охотно цитировал по памяти ахматовские строчки:

Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не страшно остаться без крова, —
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

Тогда, еще при жизни Ахматовой, Николай Семенович с тревогой думал о том, что существует немало охотников перетащить Анну Андреевну в лагерь идеологических противников Советской России.

— Бывая за границей, я все время встречаюсь с людьми, которые во что бы то ни стало хотят выразить сочувствие Ахматовой, пожалеть ее. А она, как царица, не замечает льстецов и интриганов. Она давно во всеуслышанье заявила, что «Не с теми я, кто бросил землю на растерзанные врагам». Такие строки мог написать только поэт-гражданин.

— Да, да, есть поэтессы. Ахматова — не из их числа, — убежденно говорил он. — Она — поэт!

Он радовался «возвращению в строй» Марины Цветаевой, хотя, когда при нем говорили о ней взахлеб, либо помалкивал, либо, посмеиваясь, подзуживал. Это не ускользнуло от моего внимания.

Как-то я прямо спросил его, в чем дело.

— Настоящий писатель не нуждается в безмерных похвалах. Строгая критика часто бывает полезней. — И вспомнил, как ему доставалось от Горького.

Николай Семенович, так много писавший о поэзии и поэтах, крайне редко вспоминал Твардовского.

— Редко? — возмущался он. — Разве Твардовский нуждается в заступничестве? Он же — велик!

Тихонов придерживался теории, что все крупные поэты, как звездные светила, сияя на небосклоне сегодня, завтра, на какое-то время могут исчезнуть. Но они обязательно вернутся, чтобы снова светить и нам и нашим потомкам. Он приводил в пример Тютчева и Баратынского, Фета и Батюшкова. Список имен в его памяти был безграничен, и он радовался каждому «витку», возвращавшему нам подлинные ценности. Но стихи есть стихи. Они всегда, если настоящие, остаются слитками, подлинную ценность которых можно обнаружить без труда. А вот наша лень, наше нежелание перелистать старые книги, журналы, вспомнить тех, кого давно нет, его удручала. Точно так же он не терпел тех поэтов и критиков, которые в жарких спорах во что бы то ни стало старались не просто возразить тем, с кем были не согласны в манере письма. В литературе разность мнений в порядке вещей. Но иной раз различия подхода к творческим приемам приводило к тому, что отрицалась ценность наследия товарищей по перу. Он не всегда и не во всем лично был согласен с Твардовским — как с поэтом и как с редактором журнала. Но все, что делал Александр Трифонович, он, по его мнению, делал по велению сердца, от души, во имя литературы. А вот в числе его критиков он усматривал тех, кто с течением времени либо прозреет, либо будет гордиться тем, что ему досталось от Твардовского, и на этом основании будет писать хвалебные статьи о поэте и о себе.

Тихонов мог работать в полную силу. Случалось, что отсутствие времени, болезни, множественность обязанностей не позволяли ему писать так, как хотелось, как мог бы при других условиях. Но всегда он чувствовал себя солдатом, которому нужно именно в это время сделать то, что необходимо было для решения общей задачи. Он не

переоценивал себя. Честность была для него превыше всего. Ею определялись все его усилия.

Он хотел видеть то же среди своих товарищей. Идеичность, служение делу народа — вот мера, которой он мерил себя и всех, чей локоть чувствовал рядом со своим. Именно поэтому он столь долгое время успешно выполнял свои высокие обязанности на посту Председателя Комитета по Ленинским и Государственным премиям. Человек мягкий по душевному складу, он бывал подобен кремню, если речь шла о родной литературе.

Столь непреклонным Тихонов был не только в вопросах литературы — кровных для него. Он живо интересовался театром, работой художников. Узнав, что я коротко знаком с художником Андреем Мыльниковым, он расспрашивал о нем, а потом, когда Мыльников стал членом Комитета по Ленинским и Государственным премиям, сам близко сошелся с ним и внимательно прислушивался к его мнению.

Когда в Большом театре СССР была поставлена опера «Игрок», мне удалось побывать на одном из первых спектаклей. Постановка и особенно игра Масленникова произвели на меня большое впечатление.

— Не могли бы задержаться с отъездом в Ленинград и завтра навестить нас в Переделкине? — спросил меня Николай Семенович, узнав, что я слушал оперу.

Оказалось, что я был не первым, кого самым дотошным образом интервьюировал Тихонов. Особенно его интересовала атмосфера спектакля, направленность, впечатление от постановки.

— В последнее время, — заметил Николай Семенович, — у нас на театре играют как бы понарошке: вроде бы и верные приметы жизни и в то же время чем-то жизнь эту походя пачкают. После иного спектакля хочется элементарно отмыться.

В архиве Тихонова хранится его письмо Ю. А. Завадскому, возглавлявшему Московский театр имени Моссовета. В нем я прочитал о том, что волновало автора его.

«Успех мелодрам в наше время показал, что мелодрама и комедия современны, даже далеко не совершенные, могут привлечь внимание.

Есть еще ряд пьес, тона чеховского, но с иным настроением, я бы сказал «сумеречным». Они тоже имели успех, не совсем понятный».

И далее:

«Дело не в теме — не в строительстве Н-ского объекта, скажем. Дело в ощущении времени и в том сложном клубке противоречий, какими наполнены сегодня дни. Даже бытовые статьи, т. е. статьи по вопросам моральным, например, в «Известиях», дают некоторое представление о том, что иногда происходит на свете.

В кино барахтаются, ища психологического разрешения, и делают, как хотят, т. е. ошибочно, упадочно, игнорируя другую сторону — активное движение жизни, не останавливающейся на прошлом, а только вспоминающей его для раздумья.

Поэтому в кино — много просто под знаком — (минус.— Д. Х.) и только. Театр должен быть под знаком +, и здесь его преобладание над кино.

Вот какие предпервомайские мысли пришли мне в голову, и еще одна, что Вы могли бы быть организатором, если не автором, этой новой пьесы в новом круге ощущений».

Поэт-новатор, он принимал новации не ради «выдрюшивания», как называл упражнения иных поэтов, а только во имя полнейшего и глубокого донесения идей. Он с большой осторожностью относился к потоку инсценировок, хлынувших на нашу сцену.

— Любят говорить: «современное прочтение». Что-то в этом есть. Но недавно мне пришлось видеть инсценировку великого произведения о любви к людям и боли за них, а по сцене главный герой ходил полнейшим идиотом, и поверить, что автор с ним связывал свои гуманистические убеждения, невозможно.

И в другой раз:

— Советское искусство вышло на авансцену мира. Нам ли повторять декадентские зады, способствовать разрушению того, что на своей крови строил Чехов!

Конечно, он имел в виду не только кино и театр.

**«Право
на песнь»**

— Муся! Тоня! Спешите сюда. Я покажу вам человека, не читавшего «Права на песнь».

Этим человеком был я.

Я не обиделся. Понимал: весь этот спектакль был для Николая Семеновича своеобразной зарядкой, чтобы настроиться на очередной рассказ. Так певцы за кулисами пробуют голос.

Книжку «Право на песнь» написал Вольф Эрлих, поэт, которого Тихонов очень любил. Люди, знавшие Эрлиха, помнят его стихи, рассказывают, что он был невысок ростом, слабого сложения, и трудно было представить его рядом с Тихоновым на крутой горной тропе, скажем, в Армении. Но Эрлих был действительно хорошим товарищем, в самых трудных походах не терявшим чувства юмора и веры в успех.

Об одном из таких походов сохранились буквально телеграфные строчки в записной книжке самого Эрлиха, относящиеся к 1929 году.

Прочитирую их.

«Среда. 31.VII.

Отвели нам помещение: что-то вроде пустого магазина с выбитыми стеклами и полудюжиной лавок. Мы — одни. И то неплохо.

9 ч. веч.

Ели мацони, пили чай. Купили груш, яблок и принесли с собой... Ложимся спать. Третий день по 45 верст.

11 ч.

Миллионы клопов. Бьем десятками. Зажигаем и тушим свечу. А спать надо.

12 ч.

Крысы. Свечу гасить уже нельзя. Жрут груши. Мы уже не люди.

1 ч. н.

Комар! Матушка, пожалей своего бедного сына!»

Из этих нескольких строк, нацарапанных в крошечном блокноте, по-моему, проступает характер автора.

Но в тот день Тихонов буквально живописал Вольфа Эрлиха. Как знать, может быть, именно тогда складывались первые строки его двух статей об Эрлихе.

«Я знал его в комнатах, где спорят о стихах, или рассказывают разные истории, или поют песни, до которых он был большой охотник,— писал Николай Семенович.— Я знал его за дружеским столом, на лыжной прогулке, в ладожских лесах, в приневских болотах, на жарких писательских собраниях.

Но лучше всего я помню его среди снегов Кавказа — веселого, маленького, с огромным мешком за плечами. загорелого до черноты, смертельно уставшего и все же смеющегося. С восторженным лицом смотрел он вокруг себя, бесконечно наслаждаясь воздухом, лилово-синим небом, необъятным простором, высотой. Он стоял, как маленький железный солдат, готовый к новым трудным переходам, к новым боям, к новым открытиям».

Николай Семенович был убежден: на войне Эрлих со своей жаждой подвига и патриотизмом, как командир запаса пограничных войск, нашел бы обязательно свое место в ряду самых храбрых защитников Родины.

— И такого человека этот господин не знает! — с превеликим пафосом, обращаясь к жене и сестре, срамил меня Тихонов.

— Но Вольфа Эрлиха сегодня знают только старики,— резонно заметила Мария Константиновна.

— Ты всегда его выгораживаешь! — кипятился Николай Семенович. — Он — издатель, а обязанность издателей — давать новую жизнь старым добрым книгам.

После смерти Тихонова ленинградская писательница М. И. Земская, разбиравшая небольшую часть его архива, показала мне папку с бумагами Эрлиха. Бумаги прислала сестра Эрлиха М. И. Толкачева. Архив невелик. Записная книжка, несколько вырезок из газеты, три книжки и предупреждение к читателям, которое Эрлих готовил для своего очередного издания. То, что написано в нем, служит ярчайшей самохарактеристикой человека, привыкшего судить себя самым беспощадным судом. Таких людей особенно любил Тихонов. Вот эта заметочка.

«От автора.

Мною написаны до сего времени три книжки стихов, из которых ни одной я не хотел бы видеть в переиздании.

Основные пороки этих книг: безыдейность, в самом жестоком смысле слова, и как неизбежное следствие эпитонство и политическая безответственность.

Я не делаю исключения для поэмы «Софья Перовская», получившей, в общем, положительную оценку критики. Я делаю исключение для некоторых стихов моей последней книжки (Арсенал), в которых намечается метод моей поэтической работы. Я не ошибусь, если назову его: прозаизм.

Все это еще не означает, что настоящую книжку следует считать совершенной. В ней несомненно есть значительные недостатки. Но в ней есть основное: она враждебна беспартийности всякого рода или, по меньшей мере, стремится быть такой.

Я думаю, что, со всеми недостатками, она не бесполезна. 28/1-1932. Ленинград

Вольф Эрлих».

Известно, что В. Эрлиху Сергей Есенин посвятил свое последнее стихотворение, которое за неимением чернил написал в гостинице «Англетер» кровью, — «До свиданья, друг мой, до свиданья...»

— Прочли «Право на песнь»? — едва пожав мне руку, когда я приехал в Переделкино в следующий раз, спросил Тихонов. — И как? Правда, лучшее из того, что написано о Есенине.

Я замялся.

Книжка показалась мне интересной, но дробной, рассыпавшейся на эпизоды, которые немногим дополняли мое представление о Есенине, уже сложившееся по его стихам.

Николай Семенович был явно разочарован. Эрлих жил в его душе, и оторгнуть его он никому бы не позволил. В тот день я узнал, что по его инициативе «Советский писатель» предпринимает переиздание избранных стихотворений и поэм Эрлиха, а сам Тихонов напишет к нему предисловие.

Мы условились, что на следующий день я позвоню Николаю Семеновичу в Комитет.

В условленный час Николай Семенович заехал за мной в гостиницу. Мы поехали в Переделкино совсем другой дорогой: миновали зоопарк, поднялись к Краснопресненской площади. Я еще не знал, куда мы направляемся. Лицо Тихонова было непроницаемо. Но вот машина остановилась у входа на Ваганьковское кладбище. Мы прошли прямо, потом свернули налево. Могила Есенина утопала в цветах. Мы молча постояли у надгробия.

На Ваганькове березки,
Клен да белый мех.
Что тебе наш ветер жесткий
И колючий снег?

Николай Семенович замолчал, словно вспоминая строчку Эрлиха, и закончил:

Там, в стране чудесно-белой,
Тополя шумят...

Спи, мой лебедь! Спи, мой смелый!
Спи, мой старший брат!

Гвоздики, которые Тихонов принес с собой, он положил на могилу Галины Артуровны Бениславской — наилучшего, если не единственного, друга Есенина.

— У нее тоже было право на песнь. Единственную. Она спела ее, как сочла нужным, — сказал он, когда мы въезжали в Переделкино.

Привет... погибшему другу

Далеко не все близкие, да и тем более мы, общавшиеся с Тихоновым не каждодневно, имели действительное представление о его буквально всемирной славе. Славе поэта, общественного деятеля, альпиниста. Да, да, альпиниста тоже! Ему писали. Писали знакомые и незнакомые. Просьбы бывали самыми неожиданными.

Однажды Николай Семенович показал мне письмо, полученное из Японии. Член японского альпинистского клуба, член отделения Лиги японской демократической молодежи префектуры Мияги Ичиро Ики сообщал, что 28 ноября 1954 года погиб двадцатилетний альпинист, который рассматривал спорт как одно из средств объединения молодежи в борьбе за мир.

«Вы очень заняты, — говорилось в письме. — Но не пришлете ли Вы привет нашему другу, которого зовут Хиросимо Исии и который погиб на горе Фудзи, а также всем японским альпинистам?»

— Что значит — послать привет погибшему?

Николай Семенович пожал плечами.

А мне вспомнились его стихи, посвященные Марку Арнонсу — альпинисту, который по прихоти судьбы умирал не в горах, а в постели.

Я прочел на память:

И если б так судьба не посмеялась,
Мы положили б мертвого его
Лицом к горе, чтоб тень горы касалась
Движеньем легким друга моего,
И падала на сердце неживое,
И замыкала синие уста,
Чтоб над его усталой головою
Вечерним сном сняла высота.

Но это стихотворение уже было переведено в Японии. Тихонов ответил Ичиро Ики, что за свою жизнь немало писал об альпинистах, которые все были хорошими людьми, ибо плохого человека никто не рискнет взять с собой в горы: плохой человек не может быть хорошим альпинистом. И на всякий случай послал два стихотворения из цикла «Горы».

Но из Японии пришло новое письмо, на этот раз писала молодая девушка из Национального санатория Хиого, адресуя его членам ВФДМ в СССР. Ее звали Тиба Кие. Вот несколько строк из ее письма:

«Через две недели будет годовщина смерти нашего друга. На протяжении целого года я думаю об одном: хорошо бы, если бы Тихонов согласился написать что-нибудь о Хиросимо Исии, пусть очень маленькое стихотворение, вроде эпитафии на могилу безымянного солдата».

И далее она просила передать ее письмо Николаю Тихонову: «Текст стихов я с помощью брата закопаю на Фудзи, где погиб Хиросимо Исии».

Письмо тронуло Николая Семеновича. Он тут же сел за работу, торопясь успеть завершить ее к первой годовщине гибели японского альпиниста. Одно за другим появились два стихотворения, посвященные японскому юноше.

Он погиб безымянным солдатом,
Но с большого пути не свернул.
Пусть на Фудзи мой стих в эту дату
На почетный встает караул!

Тихонов был уверен, что «альпинисты всех стран молодые завершат восхождение его».

Тихонов
смеется

Что Николай Семенович был редкостным мастером устного рассказа — широко известно. В мастерстве с ним может сравниться, пожалуй, только Ираклий Андроников. Когда они садились за один стол, все остальные участники пиршества или скромного чаепития оказывались зрителями феерического спектакля двух актеров, наделенных умением не только живописать словом, но мгновенно перевоплощаться, изображая разных людей.

Андроников артистичней, сдержанней, Тихонов неуемней, реактивней. В минуты, когда чувствовал, что начинал уступать другу, обрушивался на него:

— Не верьте Ираклию Луарсабовичу! — кричал Николай Семенович. — Он же из Грузии. А там живут недоступные общечеловеческому пониманию люди. Мистификаторы! Вот послушайте.

И рассказывал, как известный грузинский поэт Дмитрий Казбеги, как-то обидевшись на всё и вся, ушел в горы пасти скот. В горах развел костер. А тут приехали французские альпинисты, разбили лагерь неподалеку от костра Казбеги и ушли в поход. Кто-то из них забыл книгу. Возвращаются и видят: «пастух» читает французский роман. «Что это за страна, где в горах пастухи читают по-французски, а внизу, в городе, полным-полно людей, не державших в руках никакой книги?»

Сам первый заразительно засмеялся.

В другом застолье Тихонов рассказывал о том, как один его давний друг долго ухаживал за женщиной. Наконец решился объясниться. Приоделся, купил у дачной хозяйки цветы и пошел на свидание. Он так стеснялся своего букета, что держал его за спиной, а бродившая по улице водовозная кляча подошла и съела букет.

— Но это же — кадр из кинофильма! — кричали ему.

— Правильно! — соглашался Тихонов. — Но вы видите перед собой человека, подарившего киношникам этот сюжет.

Николай Семенович, случалось, чтобы не терять внимания слушателей, мог по ходу разговора что-то присочинить, особенно когда начинал свои знаменитые «розыгрыши». Обращаясь к читателям «Двойной радуги», он говорил о своих рассказах-воспоминаниях: «Здесь дана воля памяти, а не воображению», в рассказах для узкого круга на воображение узда не накидывалась.

Помню мгновенно придуманный им рассказ о том, как Виссариона Михайловича Саянова и меня как-то послали в магазин за питием для застолья, а мы вместо коньяка купили водку, чтобы, мол, на сэкономленные деньги приобрести лишнюю бутылку и распить ее по дороге. Рассказ изобилывал таким количеством правдоподобных деталей, таким знанием характеров, обстановки, места действия, что никто не мог заподозрить Николая Семеновича в чистой выдумке, тем более что рассказывал он, глядя на нас честными и веселыми голубыми глазами. Потом я многократно слышал повторение этой мгновенно придуманной истории, и не только из уст самого Тихонова, но третьих лиц, и перестал замечать, где правда, а где выдумка. Больше того, прошло несколько лет, и сам Виссарион Михайлович совершенно серьезно спросил:

— А помнишь, как мы в Переделкине ходили за водкой?

Люди, часто общавшиеся с Тихоновым, помнят множество подобных «розыгрышей». Он любил веселиться, любил дарить смех. В его архиве десятки праздничных шуточных поздравлений, забавных текстов новогодних лотерей. Поразительно, как щедро тратил он себя на такого рода забавы — стихи, рисунки...

У многих из нас хранятся, как дорогие реликвии дружбы, его поздравления с праздниками, днями рождений. Они не предназначались для печати, и автор порой поз-

волял себе пользоваться словами, которые следует заменять многоточием. Но какая шутка без соленого словца!

Иногда же Тихонов превращался в вежливого, чинного поздравителя. В день 75-летия С. Я. Маршака он послал ему поздравление в стихах:

Традиции классической наследник,
Изобретатель новых тем живых,
Всех возрастов чудесный собеседник,
Всех поколений другом были Вы!

Соединив судьбу свою с народом
И присягнув правдивому перу,
Стихом и прозой, песней, переводом
Служили Вы и свету и добру.

Летят года, короткие, как миги,
Трех четвертей уж века нет как нет.
Но любят Вас и любят Ваши книги
Читатели от мала до ста лет!

И книгам Вашим не грозит заказник,
И спрос на них, как и всегда, велик,
А юбилей, — он тоже книжный праздник,
Поскольку Вы — создатель этих книг!

Маршак ответил тем же. Он писал:

«Дорогие Николай Семенович и Марья Константиновна!

От всей души благодарю Вас за память и привет. С высоты моих 75 лет (а это немалая высота) я оглядываюсь назад и с глубокой нежностью вспоминаю старых друзей.

Так приятно мне вспомнить Петроградскую сторону, Зверинскую, 2, нашу суровую, внешне бедную, но богатую вдохновением жизнь.

Еще раз благодарю Вас и посылаю Вам (в черновике) экспромт, написанный тотчас же до получения Вашего письма...

Седовласому поэту,
Обошедшему планету,
Боевому командиру
Мощных сил, идущих к миру, —
Тихонову Николаю
Долголетия желаю.

Удалому альпинисту,
Что без страха шел на приступ
На любые Гималаи, —
Вдохновения желаю.

Дней былых кавалеристу,
Знатоку коней рысистых,
Что не дрогнул, их седлая,
Вечной юности желаю.

Ветерану Ленинграда,
Что прошел сквозь пламя ада, —
Тихонову Николаю
Той же стойкости желаю.

1/XI-1962 г.».

Эти письма не походили на турнир двух острословов — Тихонова и Андроникова. Но и таких посланий было сочинено Николаем Семеновичем бесчисленное множество. Даже малая часть их, собранная вместе, составит солидный том.

Видно, пора готовить и это издание.

Тихонов любил посмеяться. Даже хотел написать книгу забавных историй, происшедших с ним лично или услышанных от друзей.

Как знать, не найдутся ли наброски к этой книге в его архиве?

Подарок

Апрель 1978-го.

В Переделкине на деревьях почки вот-вот лопнут, кусты еще голы, хотя издали кажется, что их уже присыпали купоросной мукой.

Не без робости подхожу к даче. В последний свой приезд я, кажется, ухитрился испортить замок на калитке. Ми-

лейшему Юрию Александровичу Арапову — давнему другу семьи Тихоновых — пришлось выпускать меня через ворота.

Над дорожкой, ведущей к даче, рой мошкар. Пахнет жжеными листьями.

Привез Николаю Семеновичу подарок — его собственные стихи, которые добрый наш гений — сотрудница Ленинградского архива литературы и искусства Ада Константиновна Бонитенко обнаружила в делах радиокомитета. Если верить библиографическим справочникам, посвященным Тихонову, стихи не публиковались.

9 августа 1941 года в передаче «Советские патриоты» прозвучало стихотворение Николая Семеновича «Санитарка Катя». Вместе с другими я привез и его. Думаю, что особой радости автору я не доставил: стихотворение — обычный для тех времен рифмованный фельетон о бдительности.

Николай Семенович читал про себя долго, похмыкивая, бросая поверх очков лукавый взгляд на меня. Впрочем, лукавый ли? Дочитав до конца, крикнул, будто выпил горькую микстуру.

Пример берите с Кати, —
Чтоб враг не мог вредить,
Врага не допускайте
По улицам бродить!

Наступила долгая тишина.

— Ну, посмотрим другие.

В числе других был «Марш ополченцев», на слова которого музыку написали сразу два композитора — Вл. Со рокин и Ю. Левитин. Обе песни были переданы по радио в разные дни летом сорок первого.

Текст марша Николай Семенович сразу же отложил в сторону.

— Что было, то было, — смущенно сказал он.

Не в его правилах было отказываться от написанного. Подарку не обрадовался. Может быть, даже в душе посетовал на меня за дотошность. Но последними в папочке

лежали листки с переводами поэмы Георгия Леонидзе «Детство вождя».

— Ну, это старый друг,— обрадовался Тихонов.— Трудная тема. Но работалось над переводом мне хорошо.

Он переводил эту поэму в Грузии, живя в одном доме с Георгием Николаевичем. Из окон дома открывался вид на так любимые обоими поэтами горы. По вечерам в комнате вместе с запахами цветущего сада врывались соловьиные трели.

— Утром Леонидзе передавал мне то, что успевал написать за ночь,— вспоминал Тихонов.— День уходил на обдумывание, а вечером я привязывал себя к столу. Леонидзе мастерски писал пейзажи. Что же касается фактологической точности, то и тут он был безупречен.

Вообще, он высоко ставил писателей, бережно относящихся к факту.

— Мысль мыслью, но познавательность идет прежде всего от факта.

И в подтверждение вспомнил послание Пушкина В. Л. Давыдову («Меж тем как генерал Орлов...»). Сколько в нем фактических подробностей! И то, что Орлов собирается жениться на Е. Н. Раевской, и то, что «безрукий князь» Ипсиланти, потерявший руку во время Отечественной войны, сражаясь против Наполеона, ныне возглавил восстание греческих патриотов, и то, что митрополит — обжора, и что поэт должен вместе со всеми говеть... Но все это Пушкину потребовалось для того, чтобы сказать в своем послании главное — о своей вере в революцию:

Но те в Неаполе шалят,
А та едва ли там воскреснет...
Народы тишины хотят,
И долго их ярем не треснет.

Ужель надежды луч исчез?
Но нет! — мы счастьем насладимся,
Кровавой чашей причастимся —
И я скажу: «Христос воскрес».

— Вглядитесь! — восклицал Николай Семенович. — Это одно из самых бунтарских стихотворений Пушкина. Ведь «те» — карбонарии, а «та» — свобода. Факты нужны поэту для того, чтобы проторить дорогу идее.

Он любил Пушкина, знал его каким-то особым знанием, которое раздвигало академические представления о великом поэте.

Однажды Тихонов заметил, что только Маяковский мог с полным основанием протянуть руку Пушкину. Все до него и после него пытались выдать себя за бедных родственников Александра Сергеевича. А Маяковский не сомневался в том, что их связывают кровные, братские связи. Они были удивительно едины в своих мыслях, оценках фактов.

— Слушайте, как писал Пушкин, — и читал далее из статьи «Джон Теннер»:

«Уважение к сему новому народу (американскому. — Д. Х.) и его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстью к довольствию... рабство негров среди образованности и свободы... Такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами».

Я, конечно, вспомнил хрестоматийное: «Я стремился за 7000 верст вперед, а приехал на 7 лет назад».

Николай Семенович отрицательно покачал головой. Я лихорадочно перебирал в памяти другие стихи. Вспомнил!

Но пока
доллар
всех поэм родовей.
Обирая,
лапя,
хапая,

выступает,
капитал — порфирой надев Бродвей,
его пренохабне.

Это было ближе к тому, о чем говорил Тихонов. Но он имел в виду не стихи, а записки Маяковского об Америке, которые действительно звучат так, будто советский поэт продолжил мысль Пушкина — не только как единомышленник, но и соавтор.

— Как мало мы соотносим сделанное предшественниками с тем, что делаем сами. В этом — не только отсутствие должной интеллигентности. Иные, подобно улитке, боятся вылезти из своей раковины.

Он с душевной болью заговорил о своем друге и почти ровеснике, который честно прожил жизнь в литературе, а в последние годы вдруг начал в воспоминаниях сводить счеты с разными людьми, хотя в их адрес, кажется, ни разу до той поры с критикой не выступал.

— Но, может, это проявление старческого брюзжания?

— Старость? — переспросил Тихонов. — Старость должна быть освещена мудростью. Тогда она чего-нибудь стоит.

Я подумал о «Двойной радуге» Тихонова. Сколько разных людей живет под ее обложкой! Эта книга — не коммунальная квартира, а застолье друзей.

Сравнение Николаю Семеновичу понравилось.

— А будут новые главы?

— Будут. Они уже сложены вот здесь, — он прикоснулся пальцами к голове. — Но когда писать? Вот недавно меня полдня мучили узбекские телевизионщики. Весь дом заполнили аппаратурой, два раза пережигали пробки. А когда все отсняли, оказалось, что им я потребовался всего на полторы минуты экранного времени. Кому-то подарок, а у меня рабочий день — коню под хвост.

В автобиографии Николай Тихонов писал:

«Одну из своих поэтических книг я озаглавил: «Времена и дороги». Конечно, эта книга полна стихотворений-воспоминаний, но это воспоминания о героических людях и героических временах, о дружбе и борьбе народов. Над всем в этой книге стоят темы: Ленин, Революция, Ленинград.

Писатель, проживший много лет, обязан работать до конца! Мне надо написать еще несколько книг, задуманных мною давно».

Посылая мне в Ленинград книжку «Времена и дороги» (1970 год), как мне показалось, в дарственной надписи Николай Семенович оставил какую-то недоговоренность. Это было очень характерно для него, особенно в последние годы жизни. Он всегда был среди людей, всегда его окружали дела и заботы. Поговорить о себе, о собственных стихах будто бы и не находилось времени. Вот почему он любил принимать гостей, которые не приставали к нему с просьбами, не умножали его заботы, а хотели послушать его, домашнего, поговорить о стихах, послушать стихи. Однажды, когда я пришел навестить его в больнице, он добрый час читал мне стихи. Конечно, свои. Конечно, неопубликованные, но не совсем похожие на прежние стихи о любви.

Тогда нам не удалось поговорить: меня выпроводили врачи. Но стихи запомнились, и потом он не раз возвращался к ним. По всему чувствовалось: вызревает новая книга стихов. Вот только — какая? В поисках ответа на этот вопрос Тихонов сам терзался и рад был послушать наше мнение.

Как-то я сказал об этом Иосифу Львовичу Гринбергу, автору книги о Тихонове, составителю шеститомного собрания сочинений Николая Семеновича, соседу по пере-

делкинскому «сидению». Гринберг ничего не знал о новых стихах. Не слышал о них и Валентин Петрович Катаев, но когда я намекнул, что новые стихи — не что иное, как любовная лирика, Катаев ухмыльнулся и пробормотал строчку из «Фауста»: мол, сера теория, но вечно зелено древо жизни.

В тот день я шел к Тихонову от станции к даче, уверенный в том, что сегодня мне будет прочитана новая книга стихов.

В Переделкино уже вошла осень: березы всюю раздвигали свои медные пяточки, листья осин судорожно дрожали, вот-вот готовые сорваться в недолгий полет. С вершин деревьев передавали новости сороки, а пониже, над самой тропинкой, сновали синицы, занятые предзимними хлопотами.

— Ни дня без строчки? — Тихонов снова улыбнулся, опять приостановился и, согнав с лица улыбку, заговорил уже рассудительно, приглашая слушателя в собеседники: — Формула — отличная. Но кому адресована? Активно работающему писателю? Молодому? Такому мастодонту, как я? Смешно!

Я не понял, к чему это «смешно» относилось. А Тихонов снова шагал своей особой, будто пружинящей походкой старого альпиниста, сбивая носком ботинка одному ему видимые камешки с узкой тропы. Когда-то вот таким шагом, неторопливым, размеренным, он прошагал весь Кавказ — от предгорий Осетии до долин Армении. И в последние годы он из всех видов отдыха предпочитал прогулку. Только теперь, после двухразового больничного заключения, чаще останавливался, чтобы отдохнуть. Вот и на этот раз, остановившись, с наслаждением подставил лицо солнышку. Улыбался — то ли как мудрец, постигший все таинства мира, то ли как ребенок. А сказал о том, что держал в голове всю дорогу:

— Писать нужно много. Примерно столько же, сколько выбрасывать.

И засмеялся озорно, с удовольствием: мол, откуда же берутся книги?

Тогда я еще не знал, что он, восьмидесятилетний патриарх, продолжал работать «с марсианской жаждой». В ящике письменного стола уже было накоплено немало сотен строк, предназначенных для новой книги стихов «Песни каждого дня». Он, кажется, прочел мне лишь одно или два стихотворения из будущей книги, хотя написанное, как и каждого автора, жгло его, просилось к людям.

Как-то он спросил: не кажется ли мне, что синицы похожи на акробатов, особенно когда клюют подвешенное для них сало?

Я не понял: это была почти цитата из недавно написанного стихотворения.

Теперь, когда сижу над книгой «Песни каждого дня», ко мне врывается голос Николая Семеновича, его интонация, слышу слова, поставленные именно в таком ряду, который диктовал законы не устной, а поэтической речи. Но разве дело в словах?

В подтверждение сказанного можно привести множество цитат.

Вот они со всех сторон обступили меня, и каждая — о том главном, ради чего, собственно, Тихонов и жил, хотя далеко не всегда успевал из-за разных дел написать в стихах.

Он с наслаждением рассказывал разные, забавные, чаще трогательные, реже трагические истории про любовь.

На московской квартире Тихонова стоит в кабинете деревянная статуэтка: внизу — лицо бога, а над ним — в волнах огня — мечется девичья фигура. Каждый раз, бывая здесь, я брал в руки статуэтку, ощущая на ладони увесистую тяжесть чужого дерева, прохладного и одновременно теплого, будто резчик сумел разным концам своей работы придать разную температуру.

— В замысле это примерно и преследовалось,— ответил на мой вопрос Николай Семенович.

И рассказал индонезийскую легенду о том, как бог моря полюбил девушку, которая не ответила ему взаимностью. Однажды девушка пошла купаться, а бог, сев на берег, стал ждать, когда та отойдет подальше. И тогда погнал к ней огненные волны. Девушка заметалась, ища спасения, и, наконец, обратилась к богам. «Ты не умрешь совсем,— ответили ей.— Прах твой подхватит ветер, и там, где будет оседать он, начнет расти рис. Люди будут кормиться им, добром вспоминая тебя».

В некоторых стихотворениях книги Тихонова я слышу отголоски этой легенды. Только на кого больше похож поэт — на гордую девушку или на бога?

Однажды июньской ночью 1976 года после вечера, посвященного Ольге Берггольц в ЦДЛ, мы засиделись у Тихонова. Мы — это Д. Гранин, М. Дудин и я.

Тихонов был в ударе.

Рассказывал, будто один из политических деятелей Индии был влюблен в дальнюю родственницу Пушкина, жену вице-короля Индии, адмирала. При каждой встрече он непременно дарил ей гвоздики. И вот в Индию приехала советская делегация. В ее составе была женщина. Видимо, этот господин не знал членов делегации поименно. Войдя в зал, где проходил прием, он направился со своими гвоздиками к жене вице-короля. Но на полдороге, заметив советскую гостью, разделил букет пополам.

— Были разделены цветы — не любовь, а что это стоило адмиральше!

Тихонов поднял вверх указательный палец.

И после некоторого молчания:

— Нет, что там ни говорите, а любовь живет по своим законам.

И снова следовала история, на этот раз про немецкого генерала, который был начальником гарнизона Флоренции.

Он часто бывал в доме богатой итальянки, любил слушать ее игру на рояле. Итальянка была связана с Сопротивлением и от своих друзей узнала, что немцы заминировали мосты, готовясь взорвать их в любую минуту. Однажды хозяйка подвела генерала к окну, откуда открывался вид на реку Арно и повисший над ней мост.

— Неужели вы сможете уничтожить эту красоту?

Генерал был смущен и разгневан. Кто-то проболтался! Но он был влюблен. И это оказалось самым существенным.

— Я подарю вам мосты,— пообещал генерал.

Действительно, мосты через Арно взорваны не были, и трудно сказать, чья тут заслуга — итальянских патриотов или влюбленного генерала. Однажды судьба свела бывшего немецкого генерала и бывшего советского офицера, председателя Советского комитета защиты мира. Генерал сказал, что бомбы бессильны против красоты и любви. Тихонов сделал вид, что не до конца понял собеседника, и тогда тот вспомнил, как в начале войны он, еще саперный офицер, занимался инженерным оборудованием крымского берега против возможных десантов. Взрывали дома и дачи. В Коктебеле одна из дач стояла на самом берегу. Долго стучали в дверь. Никто не отзывался. Что ж, приговор даче был готов. Но именно в это мгновение шелкнул замок. Дверь открыла женщина и впустила немца. Тот зажег электрический фонарик, и луч его упал на скульптурную фигуру египетской богини. Взгляд богини был пронзительным и грозным. Немцу показалось, что, если он взорвет эту дачу, сам будет обречен на муки. И он сохранил дом. Это была дача Максимилиана Волошина.

«Когда я напечатал эту историю в журнале «Звезда», — говорил Тихонов, — мне неожиданно позвонил ленинградский журналист Б. А. Толчинский:

— Почему вы не назвали имени генерала?

— Я не знаю его.

— Его звали фон Энеке. Я познакомился с ним в одном из лагерей для военнопленных».

Сколько было таких бесед...

Записать бы их, застенографировать. Большая, нужная книга получилась бы!

Нет этой книги, но с нами — другие книги Тихонова. Они не стали мертвым колодецем после смерти автора. Припади к ним, и живая целительная вода освежит тебя...

И снова я сижу над рукописью «Песен каждого дня». Нужно ли искать, кому они адресованы? Нам важнее, дороже автор, человек, который хотел, чтобы все мы верили в любовь, даже тогда, когда она не очень счастливая. Любовь делает нас добрыми...

Книга,
рассказанная
по радио

У нас в Ленинграде возникла идея провести в Филармонии цикл больших поэтических вечеров, заснять их и потом показать на всю страну по телевидению. Мы предполагали вечера Пушкина, Лермонтова, Блока, Маяковского. Не более трех в год. Каждый должен был вести крупный писатель: Тихонов, Катаев, Андроников... Очень хотелось показать молодежи, которая заполняет до отказа залы, где проводятся шумные и не всегда хорошо продуманные вечера иных поэтов, образцы настоящей поэзии, преподавать, так сказать, уроки вкуса.

Я познакомил Николая Семеновича с этой идеей, когда он еще лежал в Барвихе. Условились: как только врачи выпустят его из заточения, окончательно продумаем план и начнем действовать. Благо и Ленинградская филармония и Комитет по телевидению и радиовещанию отнеслись к нашей затее заинтересованно.

И вот Тихонов — дома.

Еду к нему в Переделкино. Первым, кого встречаю, сойдя с поезда, был Валентин Петрович Катаев. Провожая его до дачи и по дороге знакоблю с замыслом вечеров. Валентин Петрович горячо поддержал идею.

— И хорошо, что вечера эти будут в Ленинграде. Ведь на берегах Невы родились почти все наши великие поэты. Постараюсь приехать, если буду здоров.

Почти дословно эту фразу повторяет Тихонов.

Он заметно похудел, но бодр и жаждет деятельности, движения.

— Врачи разрешили мне каждый день гулять по 30 минут. В любую погоду. Чувствую, как за каждые полчаса на весь день наливаюсь силой. Допивайте свой чай и — пошли!

Мы одеваемся и отправляемся гулять.

Разговор о поэтических праздниках продолжается.

При всей своей эмоциональности Николай Семенович хочет мыслить конструктивно: периодичность вечеров, ведущие, выбор программ, исполнителей — все ему представляется одинаково важным.

— Нужно в основу вечеров положить большую идею, — говорит он. — Вечные спутники? Нет, не годится. Конечно, великие поэты — вечные наши спутники. Но прежде всего — бойцы, учителя жизни.

— Вот поэтому нужно ограничить круг имен.

— Конечно! Только наивысшая проба!

И рассказывает:

— В двадцатых годах московский Союз поэтов издал альманах «Сто поэтов». Всем предрекалось великое будущее. А кто выдержал проверку временем? Не более десяти. Наша строгость в выборе — залог успеха большого дела. Не переоценивайте того, что иные крикуны нынче могут привлечь в Лужники 14 тысяч зрителей. — И подчеркнул: — Зрителей, а не слушателей. Это — не одно и то же.

Постепенно разговор переходит на то, что сейчас особенно волнует его. Всю жизнь он угощал друзей своими устными рассказами. Не стоит ли собрать их вместе?

Оказывается, этот совет он слышал от многих. Но разные дела отвлекали. И вот, попав впервые в больницу и начав поправляться, он вспомнил о магнитофоне, который

привез из Японии. Попробовал записать на пленку один из рассказов. Как будто получилось!

Вместе с ним в больнице лежал председатель Гостелерадио СССР Сергей Георгиевич Лапин. Кого же, как не его, выбрать в первослушатели и судьи!

Лапин убедил Тихонова в необходимости продолжить работу, чтобы подготовить цикл передач.

Ко времени возвращения Тихонова из больницы дома его ожидал присланный Лапиным редактор.

Так было положено начало «Устной книге». В эфир вышло восемь передач. Все слушавшие эти передачи не могли не оценить удивительный дар Тихонова-рассказчика. Правда, то, что передавалось по радио, оказалось несколько беднее слышанного нами непосредственно от Николая Семеновича. Иногда опускались детали, очень характерные для манеры Тихонова повторы, придыхания, паузы, рассчитанные на то, чтобы мы, слушавшие его, могли представить дали, в которые забирался рассказчик.

Однажды Тихонов попросил меня и Сергея Орлова прослушать одну из пленок.

— Да это же — готовая глава для книги! — в один голос воскликнули мы.

Тихонов загадочно улыбнулся.

— И назовем ее?

Он ждал ответа.

— Звуковая?

— Лучше — «Устная», — сказал Тихонов.

— Пожалуй...

— Давайте обкатаем ее в журнале, — предложил я. — Покажу «Неве» или «Звезде».

— Значит, изменить «Знамени»?

Сама мысль об этом для Тихонова была неприемлема. Прошло немало времени.

Однажды весной 1978 года, когда в очередной мой приезд в Переделкино мы ужинали, прибыл гонец из «Знамени». Николай Семенович был предупрежден, что редактору журнала пришлось «легко пройти» по рукописи,

представлявшей собой расшифровку магнитофонных записей.

— Посмотрим, что это за «легкая правка». — Он потирал руки примерно так, как это делал Чичиков, садясь играть в шашки с Ноздревым.

Но вдруг лицо его побагровело.

— Идите сюда. Посмотрите на эту пачкотню!

Обычно Тихонов был терпим к правке. Часто он писал, как говорил, и редактору приходилось убирать лишние слова, освобождать, как он говаривал, шампур от лишних кусков мяса. Но он привык к тому, что делалось это бережно, уважительно. Легким штрихом мягкого карандаша отмечались те места, где автор должен был подумать об исправлениях, если сочтет их нужными.

На этот раз рукопись была буквально исполосована. Целые фразы оказывались переписанными, отдельные абзацы решительно перечеркнуты.

— Лучше бы вернули рукопись! — в сердцах сказал Николай Семенович.

Мы стали его успокаивать:

— Ухо слышит одно, глаз читает иначе.

— Позвоню Кожевникову.

— Вы раньше прочтите. Вряд ли Вадим Михайлович знает о правке.

Николай Семенович обвел нас гневным взглядом.

— Вас я понимаю, — буркнул он. — Вы одного племени — редакторы. Но не забывайте, что я тоже был редактором...

Через несколько недель он позвонил мне в Ленинграде.

— Как идет подготовка поэтических вечеров?

Подготовка шла плохо. Нашей идее так и не суждено было осуществиться.

— А как с «Устной книгой»? — спросил я.

На другом конце провода наступило долгое молчание.

— Читаю заново рукопись.

Это было так похоже на Тихонова. Он мог вспылить, вознегодовать, но это не мешало ему сохранять трезвое критическое отношение к себе.

Прошло еще немного времени, и он сдал рукопись «Устной книги» в журнал «Вопросы литературы».

Сто
писем
об одном

Я не знаю другого человека, который был так верен дружбе, как Н. С. Тихонов. Загруженный делами и литературной работой по горло, он находил время и силы, чтобы прочесть только что вышедшую книгу товарища, написать на нее рецензию, похлопотать за кого-то, посидеть за дружеским столом.

Многие, памятуя о его чудовищной нагрузке, не хотели досаждать ему. Но проходила неделя, месяц, и вдруг Тихонов звонил сам:

— Алло, алло. Куда-то вы запропастились? Не случилось ли чего?

Иной раз приходила открыточка или телеграмма: «Хочу видеть. Приезжайте».

Невозможно пока опубликовать все письма Тихонова, которые я получил. Это требует изрядной текстологической работы, больших комментариев.

Приведу отрывки лишь из некоторых, связанных с литературными заботами Николая Семеновича и Ленинградом.

16 мая 1969 года он писал:

«Исполняя свое обещание, высылаю Вам краткое мое слово об Александре Андреевиче Прокофьеве, как договорились, в первых числах мая. Сначала я думал дожидаться от Вас сообщения о том, что вошло в книгу «Избранных стихов» Прокофьева, а потом решил воспользоваться свободными днями, выходными и, считая, что нового там ни-

чего не будет, написать пять-шесть страниц, которые, если они подойдут, будет хорошо.

Известите меня, пожалуйста, каково Ваше мнение о моем небольшом слове...»

21 мая 1969 года:

«Очень рад, что мое вступительное слово Вам понравилось и будет напечатано в Избранном Саши Прокофьева.

Я думаю, что и ему будет приятно высокая оценка его поэтической работы и внимание дружеское Ваше, от имени Лениздата, потому что он это все заслужил, недаром ему присуждена самая большая награда — Ленинская премия. А доставить радость человеку хорошему и поэту замечательному в день его семидесятилетия очень приятно. Спасибо Вам за добрую заботу о Прокофьеве. Я думаю, что пересылать верстку не нужно. Статья небольшая, а народ у Вас внимательный, и раз Вы говорите, что речь может пойти только о перестановке некоторых слов, так зачем присылать мне? Я Вам поверю на слово...

Будете в Москве — буду рад Вас видеть, и Вы, кажется, хотели поговорить о Саянове. Это стоит. О нем вспомнить надо. Ему будет семьдесят через четыре года — в 1973 году...»

6 августа 1969 года:

«Приближается день славной годовщины двадцатипятилетия всемирно-исторической победы над фашизмом.

К этому дню невольно вспоминаются дни и годы тяжелых испытаний, сражений, походных дорог. И среди других книг, которые к этому дню увидят свет, хотелось бы видеть книгу ленинградца и патриота, героя обороны и наступления, книгу, само название которой — многообещающе и точно: «От Нарвских до Бранденбургских».

Написал ее Герой Великой Отечественной войны, защитник Ленинграда, Анисимов Дмитрий Максимович, прошедший этот боевой путь от Ленинграда до Берлина.

Непосредственный защитник Невского «пятачка», раненный на нем в рукопашной схватке, он живо описывает боевые дни, и эта книга — полезная и интересная для мо-

лодых и старых читателей. Старым — она напомнит их собственные бои и походы, молодым — расскажет поучительно, как надо сражаться за Родину.

Очень прошу способствовать доведению этой книги до печати. Если она будет готова к печати и если будет необходимость, могу написать краткое вступительное слово...»

6 июня 1973 года:

«Только что в Москве с большим успехом прошел вечер, посвященный столетию со дня рождения О. Д. Форш. И зал был полон, и все остались довольны теплотой выступавших и общей атмосферой собрания. Если присоединить к этому то обстоятельство, что вся центральная пресса и журналы отметили юбилей, а в Ленинграде состоялась теоретическая двухдневная конференция в Пушкинском доме и расширенное собрание Ленинградского отделения Союза писателей, то надо признать несомненный и всеобщий успех.

Тем более встает снова вопрос о том, как отметить семидесятилетие нашего друга, вонна, писателя, поэта, участника Великой Отечественной войны, нашего любимого Виссариона Михайловича Саянова. Его точный день — 16-го июня, но у нас в Москве даже Дом литераторов для этого уже поздно использовать.

Празднование иных дат и связанные с ними вечера относятся на осень.

Мне кажется, что для того, чтобы хорошо подготовиться, надо подумать о переносе и Саяновского вечера и в Ленинграде и в Москве. Календарь представляется в смене событий так: 19-го июля (я говорю о Москве) юбилей В. В. Маяковского, затем 7, 8, 9-го июля (перед Маяковским) конференция Подготовительного Комитета Конгресса миролюбивых сил в Москве, в начале сентября — юбилей Насими в Баку и в Москве, потом — Конференция писателей пяти континентов в Алма-Ате, второго ноября — Мировой конгресс в Москве, после 15-го — осенняя сессия Ленинского Комитета. Видите, какая заполненность и как трудно где-нибудь организовать Саяновский вечер.

Поэтому можно попробовать организовать его в Ленинграде в сентябре или в октябре, как сподручнее, а в Москве — позже ленинградского вечера, скажем, в ноябре. Но пока это только предварительные мои наметки.

А что в Ваших планах, как Вы представляете себе этот праздник саяновской поэзии? Он должен быть отмечен обязательно и в Москве и в Ленинграде несомненно...

Во всяком случае, я буду ждать Вашего ответа не без известного волнения. Так хочется вспомнить замечательно-го поэта и человека, такого, как наш Виссарион бесстрашный. Вы сделали большое доброе дело, написав книгу о нем. Теперь надо хорошо вспомнить и поговорить о нем всесторонне. Срок подошел. Но надо его уточнить. Попробуем!..

Мария Константиновна шлет Вам большой привет и желает успеха нашему начинанию о Саянове, которого мы очень любили...»

12 июня 1973 года:

«...А если попробовать вечер Саянова в Москве в конце октября? От 20-го до 1 ноября?»

Как Вы к этому отнесетесь? Надо подумать?

Правда, я не знаю Ваших ленинградских планов, — давайте обмениваться соображениями.

Так хочется вспомнить нашего Виссариона громко и как полагается воздать ему честь.

Давайте искать возможности!

Пишите, что у Вас есть — какие соображения?!

Спасибо Вам большое за второе, дополненное издание книги доброго человека и полководца С. Н. Борщева — «От Невы до Эльбы!»

Я только сегодня получил от Семена Николаевича эту книгу и буду читать ее с большой радостью — книгу о героях, и сам автор — хорош!..»

16 июня 1973 года:

«Приветствую Вас сердечно сегодня, 16 июня, в день, когда нашему любимому другу, чудесному человеку — Вис-

сарриону Михайловичу Саянову исполняется 70 лет со дня рождения.

В этот день я не смог не написать Вам, так его любившему, так много трудов посвятившему его светлой памяти...»

4 сентября 1973 года:

«Я приветствую Вас сердечно и пишу Вам накануне моего отъезда в Баку на юбилей азербайджанского классика — Имадеддина Насими. Я — председатель Всесоюзного Комитета и должен провести вечера в Баку и 18-го сентября в Москве, так как это не только всесоюзный, но и всемирный юбилей...

Что касается вечера Виссариона Михайловича в Ленинграде 13-го октября, то этот день может оказаться для меня не очень удачным, потому что из-за того, что начало Конгресса миролюбивых сил в Москве отложено на 25-е октября, срок начала осенней сессии Комитета по Государственным премиям соответственно сместится, и если он начнется 13-го или 14-го, то мне будет затруднительно приехать. А вечер в Москве хорошо бы иметь в Доме литераторов где-то, как Вы и предполагаете, до вечера в Ленинграде...

Я не отдыхал летом ни одной недели. Множество разнообразных дел отняло все время...»

26 сентября 1973 года:

«...Пишу Вам как бы информационное письмо, где все предварительно. Во-первых, вернувшись после поездки в Азербайджан и проведя московские мероприятия, окончив все, что связано было с юбилеем Насими, я почувствовал самое острое переутомление, к которому присоединился ларингит, что не мог уже держаться на ногах и лишился голоса, охрипнув до последней степени.

В этом году, среди невероятных нагрузок, я не отдыхал ни одного дня. Впереди меня ждут новые большие нагрузки — с десятых чисел октября и до 24-го октября — осенняя сессия Комитета по Государственным премиям и с 25-го октября и далее — Всемирный конгресс миролюбивых сил в Москве.

В настоящее время я чувствую себя, скажем честно, чрезвычайно усталым, и мои годы дают себя чувствовать тоже. Возвращаясь к нашим делам, скажу так: московский вечер, посвященный нашему другу — В. М. Саянову, можете Вы согласовать с В. Филипповым*, и я несомненно буду в нем участвовать. Ленинградский вечер — 17 ноября, по-моему, можно планировать, но мое участие в нем окончательно решится в ноябре, потому что неизвестно состояние моего здоровья — раз, а, во-вторых, я имею сведения, что в ноябре будут дни русской литературы и искусства в Болгарии и Цола Драгойчева, председатель Общества болгаро-советской дружбы, настаивает, чтобы я в эти дни поехал в Болгарию. Все это — вопрос? Сейчас его не решить.

Что касается издания однотомника «Саянов и о Саянове», то мне кажется, можно разработать такой план и книга получится.

С Г. М. Марковым я могу поговорить об издании собрания сочинений В. М. Саянова во время сессии Комитета по Государственным премиям, когда мы будем видеться часто и будем иметь время для обсуждения этого вопроса...

Я еще должен написать для журнала «Звезда», которому исполняется пятьдесят лет, и редакция просит воспоминаний.

У меня столько литературной задолженности, что, если бы я стал перечислять, что мне нужно написать в ближайшее время, Вы удивились бы необычайно.

Видимо, надо отбирать главнейшее. И как можно экономить силы, которых уже не так много. В Баку мне пришлось, за неимением русских писателей в делегации, выступать по три раза в день. Это, конечно, сказалось. В таком темпе продолжать нельзя...»

22 ноября 1973 года:

«Я еще медленно выкарабкиваюсь из цепких тенет гриппа и ларингита, но уже с каждым днем оживаю. И

* Директор Центрального Дома литераторов.

мне было радостно узнать, что вечер чудесного Саяныча прошел в Ленинграде задушевно и дружески.

Со своей стороны сообщаю Вам, что из Дома литераторов в Москве мне звонили и сообщили, что вечер Саянова намечен на 21 декабря... И из Ленинграда могут принять четырех человек. Это как раз отвечает нашему общему желанию, чтобы, помимо москвичей, были бы Вы, Холопов, Браун, Дудин...

Я дал свое согласие председательствовать на этом вечере. Саяныча хорошо знали в Москве, есть и друзья, и поклонники, и вечер должен быть дружеским и хорошим...»

Со страниц писем Тихонова, как мне кажется, вырастает фигура крупного писателя, не чуравшегося самых будничных забот, если дело касалось товарищей по перу.

Может быть, кто-нибудь скажет: Саянов был другом Тихонова.

Конечно! Но именно это и ценно!

В моем архиве оказалось почти сто писем Тихонова. В них затрагивались разные вопросы, но по существу все письма пронизаны одной заботой — о литературе и характеризуют прежде всего их автора.

15 октября 1975 года:

«Приветствую Вас, только что вернувшись из Баку, где проходили совершенно необычные дни советской литературы в Азербайджане. В них участвовало, кроме местных писателей и поэтов, более ста литераторов из всех республик и зарубежные гости, даже из Японии. Но Вы это, наверное, уже читали в «Лит. газете».

Особенность заключалась в том, что это не были встречи с обменом любезностями и банкеты. Нет, это были встречи с рабочим классом, с нефтянками, химиками, физиками, людьми всех профессий и с интеллигенцией, причем это не были монологи писателей, а очень интересный разговор с народом читателей и строителей нового Азербайджана. Были во всех уголках республики. Я лично, кроме

Баку и его предприятий, был в легендарной Ленкорани и на таких же легендарных Нефтяных Камнях, где живет пять тысяч людей прямо в море, и бури ревут у стен клуба, вмещающего тысячу человек. Там имеется пышный розарий, парк культуры, всюду цветы, и дорога в сто шестьдесят километров по деревянным настилам, проложенным над волнами. Мы справляли юбилей Есенина, на котором читались стихи на сорока языках, чего не было ни в Рязани, ни в Москве, и нигде, кроме Мардакян, где открылся музей его имени. Мы открыли и музей Самеда Вургуна. Повидали мы много. Я выступал иногда по три раза в день. Читали стихи у памятников народных поэтов в Баку. Одним словом, две недели пролетели незаметно.

А в Москве я только один день имел передышки. Уже 13-го октября я открыл осеннюю сессию Комитета Государственных премий, а 14-го московские писатели уже выбирали делегатов на съезд писателей РСФСР, который состоится в декабре в Москве.

Календарь мой убийственный. Среди работ Комитета по Государственным премиям — 15-го юбилей Есенина, где я не выступаю, так как после 26-градусной жары Баку я застал мороз и сырость в Москве и заработал мой ларингит, я совсем без голоса. Но я должен вернуть голос к 20 октября, так как председательствую на юбилее Пётруся Бровки. Затем я кончаю работу Комитета по Ленинским и Государственным премиям и занимаюсь материалами обсуждения и пишу статьи, чтобы 7-го ноября уже были объявлены новые лауреаты.

Дальше где-то в ноябре обозначаются юбилеи в Москве — Исаакяна и Симонова, а 22-го ноября в Ленинграде открывается конференция защиты мира — 25 лет Варшавского конгресса и 25 лет образования Всемирного Совета Мира. Потом я уезжаю в Москву и возвращаюсь ко 2 декабря — юбилей Саши Прокофьева. А потом сразу в Москву — сессия Верховного Совета и съезд писателей РСФСР. Вот таковы дела...»

5 мая 1976 года:

«Скопилось столько дел, что не знаешь, как с ними поступить. Седьмого я выдаю знаки и дипломы новым лауреатам Ленинской премии...

Если состоится Азербайджанский съезд, совместно с юбилеем Самеда Вургунa, я должен подготовить выступление и для съезда и для юбилейного заседания. А главное — отправиться незамедлительно в Баку...

В силу этого, я написал сейчас, выбрав паузу, небольшое вступительное слово к книге нашего Юры Воронова — «Блокада». Посмотрите его, что не так — можно будет по готовому исправить. Вам я доверяю, как всегда. По-моему, много о книге, — маленькой — говорить не надо, но сказать все же следует. Он поэт талантливый и правдиво написал, за что ему — хвала!»

21 мая 1976 года:

«...Очень хорошо, что вышел многострадальный опус Максима Ильича Гордона * — «Невский, 2». Я работаю над вступительным словом к книге Шумилова ** «Ленинград в блокаде» (второе издание).

Слава Шошин в вопросе о моей творческой биографии выступает не первый раз. Но он действительно изучил материал и пользуется даже неопубликованным, текстами разговоров и бесед <...>

Я с удовольствием бы избежал юбилейной даты, которая меня никак не молодит, но тут безжалостное время ставит свой неумолимый штамп. Переживем как-нибудь. Во всяком случае я завален сейчас делами, как молодой товарищ, а не старец, имеющий право залезть на печку...

Жизнь Ольги *** прошла на моих глазах. Я, кажется, писал Вам, что она признавала меня своим учителем. И я хорошо знал ее с юности: вместе с талантливым и несча-

* Бывший редактор газеты «На страже Родины».

** Н. Д. Шумилов — в годы блокады Ленинграда секретарь Ленинградского горкома партии, редактор «Ленинградской правды».

*** О. Ф. Берггольд.

стливым Борисом Корниловым. Но она нашла себя в суровые дни войны. Здесь у нее проявился тот искренний и сердечный голос, то ощущение времени, когда она как женщина-поэтесса имела право на беседу печальную и высокую. Так она выступала по радио и со стихами, обращенными к советским людям: «Я тоже — ленинградская вдова...»

Ни один поэт-мужчина не имел права на выражение усталости или слабости, на это имели право только женщины. Стихи ее звучали в самые тяжелые дни, как ожидание победы, как оправдание принесенных жертв, во имя нашей правды и справедливости. Она по праву стала голосом города-героя».

9 марта 1978 года:

«Приветствую Вас сердечно после женского торжественного дня и сообщаю, что засел за Ольгу Берггольц* всерьез, и пока не окончу, не займусь другим.

Думаю, что недели мне хватит на все, про все... Что касается воспоминаний о Сереже Орлове, то срок, который Вы наметили — лето, вполне подходящий, но вот — остановка. Я совсем мало знал московский образ жизни нашего друга, и придется обходиться чисто литературными раздумьями, потому что жизненного материала у меня мало.

Кончил я свои передачи по радио. Кончил на 8-й передаче о Пушкинском заповеднике и некоторых воспоминаниях о людях Ленинградского фронта...

Мне еще прислали письмо из Киева о юбилее — 60 лет нашему другу Гончару. Также просят писать. У меня в списке за прошлые годы записано тридцать писателей, о которых надо вспомнить...

Поневоле станешь работать, как артист с говорящей книгой — для убыстрения. А я еще хочу кончить свою Кавказскую книгу!

* Речь идет о статье для книги воспоминаний об О. Ф. Берггольц.

А как Ваши раздумья насчет «Невы»? Трудная эта задача. Я знаю, какая у Вас загруженность делами. Помогай Вам бог Печати и его ангелы! Желаю Вам всего доброго. Обнимаю под звон масленицы! Под блины!..»

12 марта 1978 года:

«Приветствую Вас из весенне-снежного еще Переделкина! Вчера мне звонила весенняя юбилейная наша вонпельница Мариэтта Шагинян — приглашала на вальс в день ее 90-летия!.. Вот это энергия, вот это сила! Она заряжена на сто лет, а то и больше. Это дает нам надежду на будущее.

В настоящем же я, наконец, кончил завещанный от бога литературы мне, грешному, прозаический мадригал в честь нашей дорогой Оли Берггольц. Преподнесу его Вам. Он далеко не совершенен, но представляет голос сердца и воспоминание о достойном человеке, нашей современнице и любимице».

Служба связи

«Я никогда не был студентом, о чем очень жалею, — писал в одной из своих статей Тихонов. — Мои ми университетами были первая мировая война и Великая Октябрьская революция».

Тут ни слова преувеличения. Достаточно перечитать его «Орду» и «Брагу», повесть «Война» и первые рассказы. Он любил рассказывать о своем гусарском житье-бытье на фронте и непрерывных стычках с маленькими злыми, необъезженными жеребцами, которых привезли на фронт в Прибалтику из Туркмении. Уже тогда, вернее еще в 1916 году, в переметных сумах он возил вместе со сменой белья первые военные стихи. А среди них были такие:

О смерти думать бесполезно,
Раз смерть стоит над головой,
Я бросил юность в век железный,
В арены боини мировой.

Он считал себя военным писателем до конца дней. Но особым.

7 сентября 1977 года мы с Сергеем Орловым приехали к Николаю Семеновичу, недавно вернувшемуся из больницы. Выглядел он похудевшим. Лицо его, обычно с медным отливом, побледнело, но сброшенные в больнице килограммы словно бы омолодили его. На столе лежала пачка только что вышедшей в Воениздате книги «Сила России».

— Ну вот, мне есть чем одарить вас,— обрадовался хозяин.

Сереза и я получили по книге с трогательными дарственными надписями.

Полистав книгу, я не обнаружил в ней некоторых статей, которые, как мне казалось, очень важны не только для Тихонова-публициста, но и Тихонова — активного участника нашего военного строительства.

Я не сдержал своего разочарования. Но Николай Семенович добродушно отмахнулся:

— Я — борец за мир, а вы все хотите меня вернуть в солдаты.

— Путешествие в солдатскую юность бывает полезным и генералам.

— Что на него нашло? — улыбнулся Орлову Тихонов.— Если мы не удержим его — пойдет в штыковую.

Но разговор о путешествии в солдатскую юность увлек и самого Николая Семеновича. Он снова вспомнил, что в архиве хранит около двухсот стихотворений, не вошедших в «Орду» и «Брагу».

— Давать им жизнь сегодня не стоит,— сказал Тихонов.— Но взглянуть на них любопытно...

В последние годы, мне казалось, мы не часто стали говорить о Тихонове как об активно действующем писателе. Внешне все было благополучно. О нем выходили монографии, издавались его книги, дважды, еще при жизни автора, вышло собрание его сочинений. За творческую ра-

боту он был отмечен Ленинской, Государственной премиями, а за общественную деятельность — международной Ленинской премией «За укрепление мира между народами».

Имя Николая Семеновича всегда называлось в первом ряду советских писателей. И тем не менее в конце семидесятых больше говорили о его действительно неохватной общественной деятельности. Некоторые этим пытались объяснить его меньшую чисто писательскую активность. Этим и возрастом.

Тихонов же, как явление нашей культуры, неделим и равновелик.

25 января 1925 года А. М. Горький писал Тихонову:

«От Ваших стихов крепко пахнет настоящим и очень своеобразным человеком. Единственный поэт, которого вспоминаешь, читая Ваши стихи, — Лермонтов. Это — очень отдаленно и, в сущности, Лермонтова напоминает Вы только здоровой, приятной грубостью стиха, точностью слова. Я думаю, что в Вашем лице революция выдвинула своего первого поэта — значительнейшего»*.

И действительно, не одно поколение советских людей воспитано на его книгах.

Как известно, на первом Всесоюзном съезде советских писателей Тихонов выступил с содокладом «Наша тема — мировая радость». Один из разделов содоклада был назван «Мировоззрение — внутреннее солнце поэта». Это солнце всегда светило ему, помогало выбирать и свой путь и друзей.

Кстати, тогда, еще в 1934 году, когда со всех концов страны съехались в Москву писатели, чтобы держать совет, как лучше послужить пером победе социализма, Тихонов остро поставил вопрос о значении взаимных переводов. Он решительно полемизировал с теми, кто утверждал, что до тех пор, пока мы не усвоим языки национальных

* Цитирую по фотокопии, хранящейся в архиве Н. С. Тихонова. Оригинал передан в музей А. М. Горького.

республик, нам трудно понять их поэзию. Тихонов резонно заметил, что нельзя ждать, пока люди изучат все языки. И сам показал пример исключительно ответственной переводческой работы.

«Дело в том, что иногда секрет передачи перевода,— говорил Тихонов,— заключается вовсе не в том, чтобы повторить механически точно то, что сказано в произведении». Он напомнил, что переведенные Лермонтовым «Горные вершины» гениальны, они сильнее оригинала, написанного по-немецки. Однако родилось это стихотворение все-таки потому, что существовал подлинник.

Он сам, если верить поэтам, с которыми довелось общаться, следуя оригиналу, непременно что-то привносил в переводимые стихотворения. Сандро Шаншиашвили писал: «Николай Тихонов исходил всю Грузию — с востока на запад. Он знает наш край не хуже любого грузина. И в каждом уголке Грузии у него знакомые, друзья, почитатели». Не в этом ли — ключ к пониманию успеха Тихонова как переводчика с грузинского?

Послушаем Мирзо Турсун-заде:

«На Востоке говорят: счастлив день, когда встречаешь поэта. И мы счастливы, что встретили Тихонова, человека с великой душой России, готовой служить всем братским народам, как своему родному народу».

Уже за одно то, что он сумел собрать под одной крышей на общий пир поэтов, пишущих на разных языках, но хорошо понимающих друг друга, Тихонов останется вечным тамадой.

И это верно не только в отношении советских поэтов.

В одном из писем к Анталу Гидашу и Агнессе Кун (от 2 октября 1949 года) он писал:

«Дорогие друзья,

Приветствую Вас и посылаю Отставного солдата, которого я перевел в Сухуми и который так заставил меня попотеть. Правда, я должен был его кончить зимой, а сейчас — скоро снова заморозки, а у меня в работе еще Мати

Лудаш, которого скоро я тоже сдам Вам. Тут ничего не поделаешь. Этот год целиком проглотил мои переводы, время ушло. Вы знаете куда.

Я не знаю, как Вам понравился мой перевод, но хочу сделать одно замечание. Перебивы размера, приближение к естественной разговорной интонации я допустил сознательно, и, по-моему, от этого выиграли стихи. Держать их в ровном, академическом размере было бы скучно для такого веселого Яноша Хари. Я читал здесь местной литературной публике, и она приняла переводы именно за живость.

— Ангелы его дер! (повторял Хари); по-моему, я сделал то, что мог. Пусть другой сделает лучше. Вторая большая просьба:

Перепишите эти переводы на машинке со своими замечаниями, подробными и критическими, пришлите их так, чтобы я получил их не позже 10—12 октября...

Над Мати Лудашем работаю непрерывно. Я понимаю Ваше волнение за Антологию, но что мне делать. Вместо отдыха я сижу и перевожу, и, смею признаться, делаю это только по дружбе, иначе плюнул бы на все дьявольские трудности перевода и ушел бы в горы, не оглядываясь...»

Можно цитировать другие письма, написанные в другие годы, по другим адресам. Однако во всех них бьется горячая кровь Тихонова, выдающегося борца за единение прогрессивных литератур мира. Он стал им потому, что сам был одним из крупнейших поэтов нашего времени. Свет его собственной поэзии усиливал службу связи, которую Тихонов нес всю жизнь.

Впрочем, он любил сравнивать себя с солдатом-связистом. Незадолго до смерти Николай Семенович написал стихотворение, напомнившее нам об этом.

А он стоит,
Боец стоять обязан,
Пока к победе
Битва не придет, —

И я стою, такой же клятвой
Связан —
И только счет
Монх потерь растет.

Проходят дни,
Неумолимо, мимо,
Я в битве жизни,
Сердцем не дрожа,
Как тот связист,
Стою неумолимо —
Нить Будущего
К Прошлому прижав.

Таким солдатом Отечества Николай Тихонов останется
в нашей памяти...

[Вступление]	3
Несколько страниц биографии	7
ДИСК	15
Зверинская, 2	34
«Орда» и «Брага»	42
Кинематографические истории	54
Горы и пустыня	59
Поэтический архипелаг	73
Правофланговый	77
Еще несколько писем	91
В железных ночах Ленинграда	113
Сага о журналисте	116
Два заказа	124
Доверие земляков	133
Осень в Переделкине	151
Стихи из могилы стола	152
«Книга о Ленинграде клубится во мне, как Везувий!»	156
«Если бог даст...»	159
Мысли вслух	161
«Право на песнь»	167
Привет... погибшему другу	171
Тихонов смеется	173
Подарок	176
«Песни каждого дня»	181
Книга, рассказанная по радио	183
Сто писем об одном	190
Служба связи	200

Дмитрий Терентьевич Хренков

**Николай
ТИХОНОВ**
в Ленинграде

Заведующая редакцией А. М. Березина. Редактор
Л. Е. Кошечкина. Художник Л. М. Коломей-
цева. Художественный редактор А. К. Тимошев-
ский. Технический редактор Г. В. Преснова.
Корректор В. Д. Чаленко

ИБ № 2554

Слано в набор 27.10.82. Подписано к печати 28.06.84.
М-13857. Формат 70×108¹/₂. Бумага тип. № 1. Гарн.
литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 9,10+вкл. Усл.
кр.-отг. 9,71. Уч.-изд. л. 9,69+0,54=10,23. Тираж
50 000 экз. Заказ № 748. Цена 85 коп.

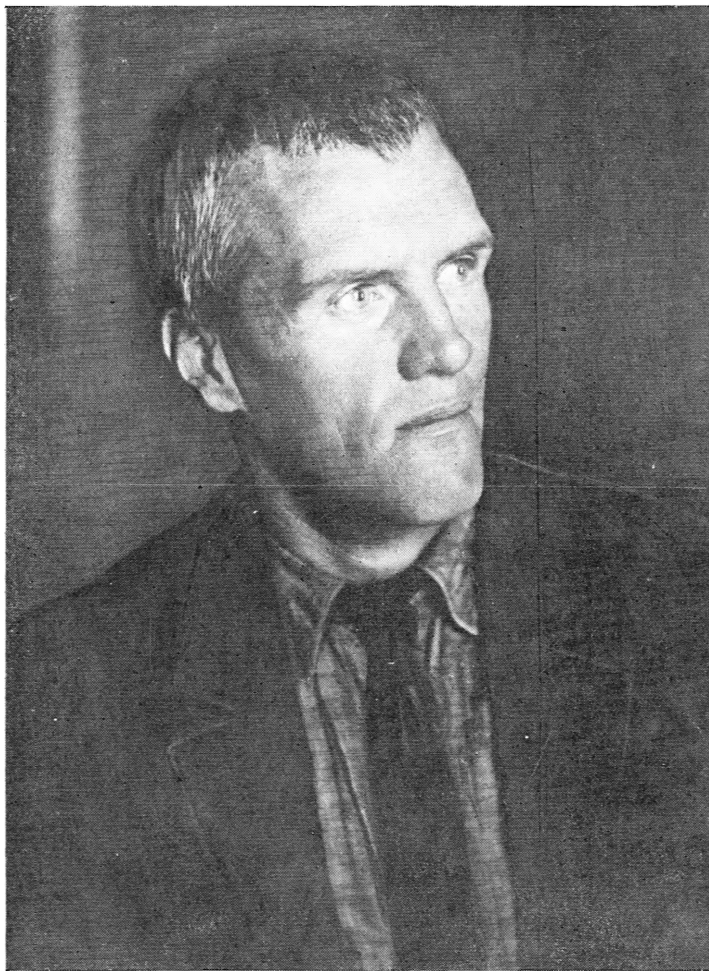
Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023,
Ленинград, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного
Знамени типография им. Володарского Лениздата,
191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

Хренков Д. Т.
Х91 Николай Тихонов в Ленинграде. — Л.: Лениздат,
1984. — 206 с., ил. — (Выдающиеся деятели науки и
культуры в Петербурге — Петрограде — Ленинграде).

Книга рассказывает о жизни и творчестве поэта Николая Тихонова
в Ленинграде, о тесных связях его с городом на Неве.

X $\frac{1905040100-029}{M171(03)-84}$ 317-83

19.5.4.1.



Н. С. Тихонов. Конец 1930-х годов.

6. Дм. Хренков



Н. С. Тихонов с сестрой
Антониной. 1910 г.



Н. С. Тихонов. Титульный
лист рукописи. 1911 г.



Н. Тихонов. Гренадеры. Рисунок. 1912 г.



13 Гвiанскій полкъ.
г.

Н. Тихонов. Гвианский полк. Рисунок. 1912 г.



Французскiй
гусаръ

Н. Тихонов. Французский гусар. Рисунок. 1919 г.

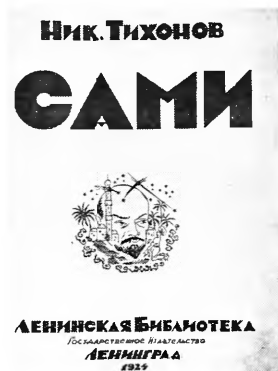


Н. Тихонов. Противники. Рисунок.

Н. С. Тихонов, 1920-е
годы.

Обложка к изданию
поэмы «Сами». 1924 г.

Н. С. Тихонов. Конец
1920-х годов.





«Серapiоновы братья» (слева направо): К. А. Федин, М. Л. Слонимский, Н. С. Тихонов, Е. Г. Полонская, Н. Н. Никитин, М. М. Зошенко, И. А. Груздев и В. А. Каверин.

Н. С. Тихонов. 1920-е годы.

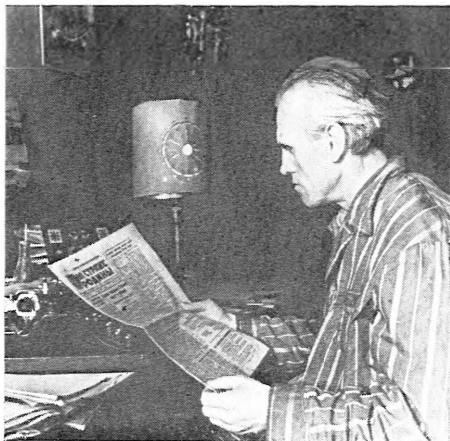


Н. Тихонов. 1939 год.

Н. Тихонов, А. Твардовский, С. Ва-
шенцов. 1940 г.



Со свежим номером газеты «На страже Родины». 1942 г.



Слева направо: А. А. Фадеев, В. К. Кетлинская, Н. С. Тихонов, Б. М. Лихарев. 1942 г.





Н. С. Тихонов с женой Марией Константиновной.
1942 г.



С друзьями-«настражевцами». Слева направо: Н. С. Ти-
хонов, М. И. Гордон, В. Меркурьев, П. А. Карелин
1943 г.



Н. С. Тихонов и А. А. Прокофьев. 1944 г.



Н. С. Тихонов и дважды Герой Советского Союза летчик П. А. Покрышев.



На митинге в городе Плевен. 1945 г.



Н. С. Тихонов. 1947 г.



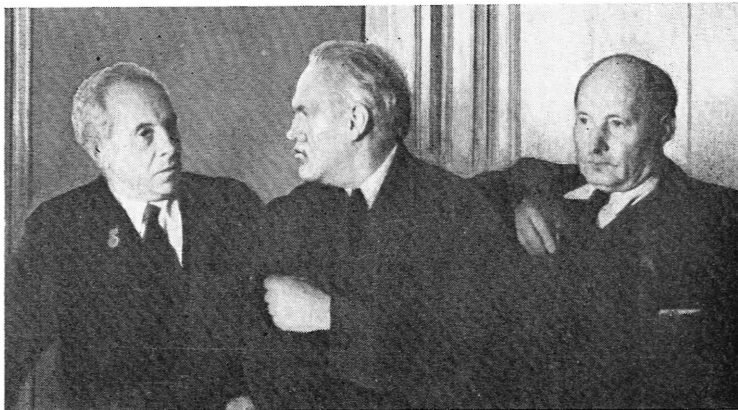
Н. С. Тихонов. Конец
1940-х годов.

С дочерью Варварой.
1951 г.



Н. С. Тихонов и
А. А. Прокофьев. 1961 г.





Павло Тычина (слева), Н. С. Тихонов и Якуб Колас. 1961 г.



Н. С. Тихонов и Тихон Хренников. Конец 1960-х годов.

14 января 1974г.

Дорогой Дмитрий
Тихонович!

Снова приветствую Вас сердечно! Конечно,
я бы очень хотел присутствовать 25-го января, на
торжественной собрании, посвященном 50-летию
со дня переезда нашей Зорьды и, конечно, у нас
помогать Вам до утра или на этот вечер при-
ехать.

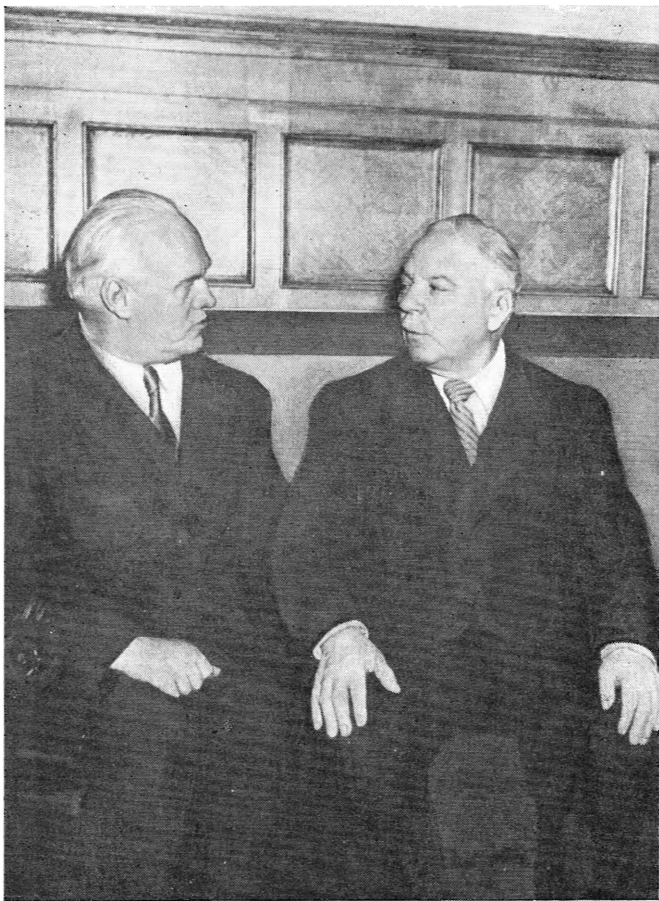
Я еду в Ленинград 24-го, утром, со
"Стрелой" и сяду там на Зверинский - у своих
Зверинки 2/5 и 21 - тел. 34-64-59, продвину до
28-го, потому что в Москве, 31-го января в Доме
Литераторов или Радика, будет вечер, посвященный
Ленинграду и надо прийти заранее в его органи-
зацию.

Буду, поэтому очень рад увидеть Вас и
задать Вам много вопросов. Ваши книги о вечере
25-го. 26 я еду туда в Домик Малевича в
Ленинграде. Мамы Клеопатры или судить по ней!
Воткну Вас
с любовью
Никола-Тихонович

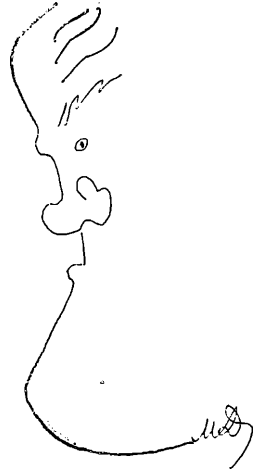
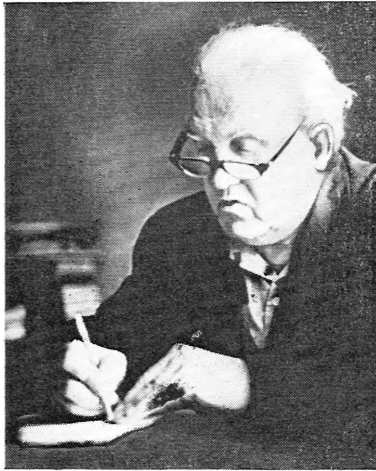
Автограф письма Н. С. Тихонова об участии в вечере
1974 г.



Последняя встреча с Ф. Жолио-Кюри. 1957 г.



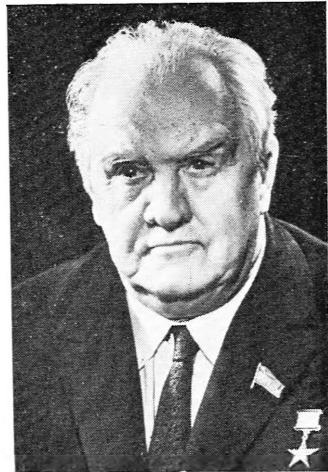
К. Е. Ворошилов и Н. С. Тихонов.



Н. С. Тихонов. 1979 г.

Николай Тихонов. Дружеский шарж
М. Дудина.

Н. С. Тихонов. 1978 г.



ВЫДАЮЩИЕСЯ
ДЕЯТЕЛИ
НАУКИ
И КУЛЬТУРЫ
В ПЕТЕРБУРГЕ—
ЛЕНИНГРАДЕ

**Николай
ТИХОНОВ**
в Ленинграде

85 коп.